



Белла АХМАДУЛИНА

Француз

Белла
АХМАДУЛИНА

Белла
АХМАДУЛИНА

Избранное



Белла
АХМАДУЛИНА

Избранное

СТИХИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

ББК 84 Р 7
А 95

Художник *Елена ЕНЕНКО*

4702010202—361
А ————— 165—88
083(02)—88

ISBN 5—265—00092—5

© Издательство
«Советский писатель», 1988.
Состав, оформление

«Избранное» — так будет написано на обложке книги. За чем же дело стало? Да вот за этим кратким предисловием, на которое ушло столько длительного и бесполезного прилежания, столько печали. О чем так печалится нерадивый сочинитель предисловия к своим Избранным сочинениям?

Окна его московского обиталища таковы и так расположены в мироздании, что, в течение суток и доле с места не сходя, можно озирать все движение и поведение небосвода. Полыхает, меркнет, скудеет и заново рождается луна, сопровождаемая звездой. Может быть, дело во влиятельной луне? При ней ли писать предисловие к своей книге, послесловие к своей жизни? Если Слово, в его самовольном изъявлении, хоть как-то соответствует смыслу и содержанию всего этого подлунного сюжета, «пред...» — излишне, в «после...» — другие люди разберутся.

Незадачливый тоскующий автор со скукой косится на будущую книгу, на бывшую жизнь, совестливо и неприязненно соотнося одно с другим. Между этим и следующим абзацем проходит несколько дней, происходят события жизни и смерти, пишущий косвенно соучаствует в них, страдает и сострадает. В этом месте затянувшегося писания он как бы отсутствует, он читает — не свою, разумеется, книгу. Есть у него заветный том в ситцевом переплете.

Посмотрим на читающего со стороны. Сгорбился, прикрыл спину каким-то утеплением (дует) и не столько читает, сколько вспоминает, когда, где, какой цветок положил он меж страниц в ситец переплетенного тома? Вдруг — сильно оборачивается. Никакого округлого полыхания! Яркий, свежий, новехонький месяц невредимо и нежно помещен в быстро синеем окне. Потрясенный соглядатай книги и небосвода вскакивает с впусую наси-

женного места и просит: «Радость! Ненаглядность! Помоги, как всегда помогал!»

Где та искомость, которую не могу найти? Заветный ситцевый том отзывается: «Месяц, месяц, мой дружок! Позолоченный рожок!..» и: «Погоди. Об ней, быть может, ветер знает. Он поможет...»

Вот зачем так припекает, так дует.

Проситель этот так или иначе всю жизнь зависел от неимущего младенчества луны, всегда и сейчас показывая месяцу условную невзрослую «денежку». Не ожидая приплода серебра, он никогда не имел отказа в том, что просил. Я слышу неслышимый прощающий и поощряющий смех: пространство ли смеется или Тот, о ком всегда думаю, когда смотрю на луну? Как я люблю этот смех.

Дело стало лишь за предисловием к Избранному.

Избранник мой, читатель! Я не знаю твоего имени, но ты — именно тот, кто понимает, о чем речь, и именно к тебе обращена эта книга — где-нибудь да возьмешь ее...

Вкратце скажу: я составляла книгу, предпочитая не ранние мои стихи, а то, что написано в последние годы. Кто-то скучает по своей молодости, совпадающей с началом моей литературной жизни, и недосчитается каких-то воспоминаний, связанных со мной,— прошу простить меня... Я жила на белом свете и старалась быть лучше.

Август 1987 года

Белла Ахмадулина

ЦВЕТЫ

Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки.
Их корни сытые жирели
и были лепестки тонки.

Им подсыпали горький калий
и множество других солей,
чтоб глаз анютин желто-карий
смотрел круглей и веселей.

Цветы росли в оранжерее.
Им дали света и земли
не потому, что их жалели
или надолго берегли.

Их дарят празднично на память,
но мне — мне страшно их судьбы,
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.

Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля.

1955

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает.
На грех наводит, за собой маня.
Моя работа мне не помогает
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,
пишу стихи у краешка стола,
и все-таки меня снедает ревность,
когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто —
и у меня в тбилисском том духане,
в картинной галерее и в кино
завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу
печник на необжитом новом доме,
я тоже вытираю о траву
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор,
послушно перенять его пример
и, пристально прикинув к аппаратам,
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревца сажать,
из лейки лить на грядках неполитых
и линии натурщиц отражать,
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной
меня жестоко требует к ответу.
Но не прошу я участи иной.
Благодарю скупую радость эту.

1956

* * *

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами мне говорили:

«Пойдем в кино или в музей
изобразительных искусств».

Я отвечала им примерно вот что:

«Мне некогда».

Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.

Пятнадцать мальчиков мне говорили:

«Я никогда тебя не разлюблю».

Я отвечала им примерно вот что:

«Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.

Они исполнили тяжелую повинность

подснежников, отчаянья и писем.

Их любят девушки — иные красивее, чем я,
иные некрасивей.

Пятнадцать мальчиков преувеличенно свободно,
а подчас злорадно

приветствуют меня при встрече,

приветствуют во мне при встрече

свое освобождение, нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.

Поставлю я твои подснежники в стакан,

и коренастые их стебли обрастут

серебряными пузырьками.

Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,

и, победив себя, ты будешь говорить со мной

надменно,

как будто победил меня,

а я пойду по улице, по улице...

1956

НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белою навесной
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки
в колечках ледяных,
чтобы сходились рюмки
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,
пророчил сыновей,
чтобы друзья с подарками
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,
тарелки, кружева...
Чтоб в щеку целовали,
пока я не жена.

Платье мое белое
заплакано вином,
счастливая и бедная
сижусь я за столом.

Страшно и заманчиво
то, что впереди.
Плачет моя мамочка,—
мама, погоди.

...Наряд мой боярский
скинут на кровать.
Мне хорошо бояться
тебя поцеловать.

Громко стулья ставятся
рядом, за стеной...
Что-то дальше станется
с тобою и со мной?..

1956

ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдаленности своей.
Лунатики протягивают руки
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознания,
весомостью дневной утомлены,
летят они, прозрачные созданья,
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупое,
взамен не обещая ничего,
влечет меня далекое искусство
и требует согласия моего.

Смогу ли побороть его мученья
и обаянье всех его примет
и вылепить из лунного свеченья
тяжелый, осязаемый предмет?..

1956

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море парусы плутали,
и, непричастные жару,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравши все в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершись на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» — из окошка звали,
«Натэла!» — голос отвечал...

ПАВЛУ АНТОКОЛЬСКОМУ

I

Официант в поношенном крахмале
опасливо глядит издалека,
а за столом — цветут цветы в кармане
и молодость сдает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.
Он, палкою по воздуху стуча,
летит мимо испуганных прохожих,
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,
дай помахать и хлебом не корми!
Гасконский, что ли, это темперамент
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счету
тот, кто — один. На белом свете он —
один всего лишь. Но заглянем в щелку.
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьет старик бедовый,
потрескивая на манер огня.
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.
Он — мускулы под кожей коня.

Все — чепуха. Сидит старик усталый.
Движение есть расточенье сил.
Он скорбный взгляд в далекое уставил.
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,
неисполненье давешних надежд.
А где же — Сын? Где этот строгий мальчик,
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:
как вы бодры... вам сорока не дашь...
Молчали бы, летая по ступеням!
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!
Оно гудит под пологом кровати,
закруживая, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,
ах, все, что есть, оставит позади.
Не иссякай, бессмертный Казанова!
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.
В чужом дому плачь домовым в трубе.
Пусть женщина, капризница, мотовка,
тебя целует и грозит тебе.

Запри ее! Пускай она стучится!
Нет, отпусти! На тройке прокати!
Все впереди, чему должно случиться!
Оно еще случится. Погоди.

1956

II

Двадцать два, значит, года тому
дню и мне восемнадцатилетней,
или сколько мне — в этой, уму
ныне чуждой поре, предпоследней
перед жизнью, последним, что есть...
Кахетинского яства нарядность,
о, глядеть бы! Но сказано: ешь.
Я беспечна и ем ненаглядность.
Это все происходит в Москве.
Виноград — подношение Симона.
Я настолько моложе, чем все
остальные, настолько свободна,

что впервые сидим мы втроем,
и никто не отторгнут могилой,
и еще я зову стариком
Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

* * *

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

1957

СВЕТОФОРЫ

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смещение
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смещение
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косою азиатский напор.

Видно, выход — в движенье, в движенье,
в голове, наклоненной к рулю,
в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.

1957

* * *

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а все обманывал,
все думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.

Но как же все напрасно,
но как же все нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.

1957

* * *

Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
вздымал косынку на плече.

А был ты мне ни друг, ни недруг.
Но вот бревно. Под ним река.
В реке, в ее ноябрьских недрах,
займется пламенем рука.

«А глубоко?» — «Попробуй смеряй! —
Смеюсь, зубами лист беру
и говорю: — Ты парень смелый.
Пройдись по этому бревну».

Ого — тревоги выраженье
в твоей руке. Дрожит рука.
Ресниц густое ворошенье
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком), —
о, поскорей бы, поскорей! —
над темным холодом, над бойким
озябшим ходом пескарей.

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеющую папиросу
в снегу кончаешь каблуком.

1957

* * *

Вот звук дождя как будто звук домбры —
так тренькает, так ударяет в зданья.
Прохожему на площади Восстанья
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали.—
К его курчавой головенке никну
и говорю: — Пусти скорее нитку,
освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,
мне белая встречается собака,
и взглядом понимающим собрата
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,
по бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколону склянку,
томится он под вывеской «Тэже».

Я говорю: — О, отвлекись скорей
от жадности своей и от подагры,
прибери богатые подарки
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везет мне, не везет.
Меж мальчиков и девочек пригожих
и взрослых, чем-то на меня похожих,
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.
Теней я замечаю удлиненье,
а также замечаю удивленье
прохожих, озирающих меня.

1957

* * *

О, еще с тобой случится
все — и молодость твоя.
Когда спросишь: «Кто стучится?» —
Я отвечу: «Это я!»

Это я! Ах, поскорее
выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —
листик с веточки одной.
Как же ты стареть собрался,
не советуясь со мной!

Ах, да вовсе не за этим
я пришла сюда одна.
Это я — ты не заметил.
Это я, а не она.

Над примятою постелью,
в сумраке и тишине,
я оранжевой пастелью
рисовала на стене.

Рисовала сад с травой,
человечка с головой,
чтобы ты спросил с тревогой:
«Это кто еще такой?»

Я отвечу тебе строго:
«Это я, не спорь со мной.
Это я — смешной и стройный
человечек с головой».

Поиграем в эту шалость
и расплачемся над ней.
Позабудем мою жалость,
жалость к старости твоей.

Чтоб ты слушал и смирялся,
становился молодой,
чтобы плакал и смеялся
человечек с головой.

1957

* * *

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.

1957

* * *

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.

Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
все различавший в тишине,
пес умудренный семилетний
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пес. Ах, Тошка,
ты понимаешь все. Ответь,
что так мне совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Все тонкий нюх твой различает,
угадывает наперед.
Скажи мне, что нас различает
и все ж расстаться не дает?

1958

* * *

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая легкость
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды летность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне все дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегаёт дитя
и нарушает их порядок.

1958

АВГУСТ

Так щедро август звезды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили,
к старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалеко звезды пролегли,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Все то же там паденье звезд и зной,
все так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

1958

* * *

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

1959

АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.
Вот мальчики — им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
приблужишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

1959

НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивленный
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —

И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно — так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: — Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори —
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

1959

НЕСМЕЯНА

Так и сижу — царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
— Царевна, отвори нам! Нас немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слыву я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: — Какой верна присяге,
царевна, ты — в суровости своей? —
Я говорю: — Царевичи, присядьте.
Царевичи, по стойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

— А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: — Богат он или беден,
румян иль бледен — не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

1959

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и губительной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдаленных.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

1959

АВТОМАТ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щелку,
и, нежным брызгам подставляя щеку,
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою:
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру,
и поддаюсь с блаженным чувством риска
соблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,
пронзают нёбо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа
взирает с доброю старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиться из ковша.

1959

ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щеку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стекол.

И пес выскакивал ко мне,
как галка, маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружье
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлек, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст.—
Я говорила: — Где-то, где-то...—
Он говорил: — И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.
О, как он притворился ловко,
что здесь не падало слезы,
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор
смыл все: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пес забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стаял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан граненый ставил...

О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.

1959

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.

1959

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ В ТБИЛИСИ

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любую мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиною,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обнаженной ниткой серебра
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей под звездой, до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — в час зари поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспяť
в бессоннице, в ее дурной потехе,—
о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сладь,
пролив слюною сладости избыток.
Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном древе.
И — снова спать! Спать долго. Спать всегда.
Спать замкнуто, как в материнском чреве.

1960

СВЕЧА

Всего-то — чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

1960

* * *

Мы расстаемся — и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нем велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать вам никогда,
и распадается иван-да-марья.
О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета —
остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разрухе,
отливы превращаются в прибой,
и молкнут звуки — по вине разлуки
меня с тобой.

1960

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный,—

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости — и снов моих
нецеломудренны туманы.

1960

В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ «СОКОЛ»

Не знаю, что со мной творилось,
не знаю, что меня влекло.
Передо мною отворилось,
распавшись надвое, стекло.

В метро на остановке «Сокол»
моя поникла голова.
Спросив стакан с томатным соком,
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась
и говорила невпопад:
— За красоту твою и милость
благодарю тебя, томат.

За то, что влагою ты влажен,
за то, что овощем ты густ,
за то, что красен и отважен
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,
направленные вверх и вниз,
как опаляющие вихри,
над головой моей неслись.

У каждой девочки, скользящей
по мрамору, словно по льду,
опасный, огненный, косящий
зрачок огромный цвел во лбу.

Вдруг все, что тех людей казнило,
все, что им было знать дано,
в меня впилось легко и сильно,
словно иголка в полотно.

И утомленных женщин слезы,
навек прилившие к глазам,
по мне прошли, будто морозы
по обнаженным деревьям.

Но тут владычица буфета,
вся белая, как белый свет,
воскликнула:

— Да что же это!
Уйдешь ты все же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,
пойдем со мною, брось тужить!
Мы в роще Марьиной прекрасной
с тобой, две Марьи, будем жить.

В метро на остановку «Сокол»
с тех пор я каждый день хожу.
Какой-то горестью высокой
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной
припав, как к доброму стволу,
потягиваю сок холодный
иль просто около стою.

1960

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет божью мать,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а все ж я проживу.

1960

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувший тихо среди ветвей и грядок,
не сознать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.
В нем — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравкою детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотреть всех его затей,
не расплеть его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
все время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в легких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, слава богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверек природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь средь пустоты,
тесно и шумно населенной мною.

1960

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж деревьев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый среди людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.

И аспирина тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.

1960

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

1960

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощечиной в него вlepивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый гнет
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший уют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морсзы.

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодые зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосуллек теплых обыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.
Ко мне крадется ненасытный труд,
терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуком немота,
зияя пустотою, как скворешник,
весну корящий,— разве не могла
его наполнить толчеей сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев
мне не бродить. Но что все это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,
накучившего и опять родного.
В ладонь склоняясь тяжестью лица,
я из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхождение речи.

Я — мускул, нужный для ее затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорождение и затем
забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пускай дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

1961

БОЛЕЗНЬ

О боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!
О, всех простить, всем передать
и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

1961

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело,—
мне маленькие самолеты
всё снятся, не пойму с чего.

Им все равно, как снится мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вокруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»

А то глаза открою: в ряд
все маленькие самолеты,
как маленькие Соломоны,
всё знают и вокруг сидят.

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белком, как будто таксы,
тела их длинные плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нем — ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю — ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты, крошка, ты, дитя, ты, еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? — неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья,—
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды,—
чьи пальчики по клавишам лепечут?
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлет свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.

1962

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,
все слаще обмирает улей.
Все глубже осень, и душа
все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжело слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет,
похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее,
вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

1962

ЗИМА

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И все сильней соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нем
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною.

1962

НОЧЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,
а все руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в безопасности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он все ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль — под пыткой немоты
все ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом доме, среди снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

1962

ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Начну издалека, не здесь, а там,
начну с конца, но он и есть начало.
Был мир как мир. И это означало
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород,—
так невелик и все-таки обширен.
Там, прихотью младенческих ошибок,
все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины
был дом как дом. И это означало,
что женщина в нем головой качала
и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,
и кто-то — мы еще не знали сами —
замаливал один пред небесами
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —
какая разница? — пред белым светом,
позволив нам не хлопотать об этом,
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел
возник над миром, около восхода,
толчком заторможенная природа
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,
врасплох нас наблюдала необъятность,
и наших достоинств неприглядность
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те
два мальчика в рубашках полосатых
без робости вступали в палисадник
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,
но я чужда привычке современной
налаживать контакт несоразмерный,
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь
смотреть на дом и обращать молитву
на дом, на палисадник, на малину —
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была
лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
в простор его лица, в протяжность речи...
Но рифмовать пред именем твоим?
О нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских
дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад.
На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий
плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему,
от гордости к себе я почти не видела его лица — только
ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки
глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали,
и я вас сразу узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную
силу переживания, взмолился: — Ради бога! Извините меня!
Я именно теперь должен позвонить!» Он вошел было в ма-
ленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из
кромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой

светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружал его заботой и любовью голоса. Спинай и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неудобными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду».

Из леса, как из-за кулис актер,
он вынес вдруг высокопарность позы,
при этом не выгадывая пользы
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —
не холодно ли? — вот и все, не боле.
Как он играл в единственной той роли
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —

как он играл, как, молоко лакая,
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми
не принято. Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!
Еще не все: — Так заходите завтра! —
О тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти — не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, дерев и дач —
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

* * *

Он утверждал: «Между теплиц
и льдин, чуть-чуть южнее рая,
на детской дудочке играя,
живет вселенная вторая
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис!
Природы вогнутый карниз,
где бог капризный, вдав в каприз,
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,
брала разбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лег полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи
сомкнул он надо мной овал,
поцеловал, околдовал
на жизнь, на смерть и наповал —
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры
не пить мне!
И из вод Арагвы
не пить!

И сладости отравы
не ведать!
И лицом в те травы
не падать!

И вернуть дары,
что ты мне, Грузия, дарила!
Но поздно! Уж отпит глоток,
и вечен хмель, и видит бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

1962

СКАЗКА О ДОЖДЕ

*в нескольких эпизодах
с диалогами и хором детей*

1

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про все на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна,
сидел.
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Все было сухо.
И только я промокла до костей.

2

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта
во мне сильна, но все ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично.—
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой,— решила я,— иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят! —
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

3

Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако,
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги — глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлинённый
для комнат.

— Вот как? — молвил удивлённый
хозяин, изменившийся в лице.

Признаться, я любила этот дом.
 В нем свой балет всегда вершила легкость.
 О, здесь углы не ушибают локоть,
 здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят
 шелка хозяйки, затененной шарфом,
 и, более всего, плененный шкафом —
 мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
 в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.
 Но я очнулась. Ритуал приветствий,
 как опера, станцован был и спет.

Хозяйка дома, честно говоря,
 меня бы не любила непременно,
 но робость поступить несовременно
 чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О блеск грозы,
 смиренный в тонком горлышке гордячки!)
 — Благодарю,— сказала я,— в горячке
 я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
 Ведь я хотела, поклонившись слабо,
 сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,
 тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, среди музыки и брани,
мы б свидеться могли при барабане,
вскричали б вы:
«В огонь ее, в огонь!»

За все! За Дожди! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки с губ, как косточки черешен,
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог,—
проговорил хозяин уязвленный.—
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколенье молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я.— Все это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидела — там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.

6

Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? — Есть что-то
неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность, —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалился вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7

Все, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:

— Одаренных богом
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:
— Приходит бог, преласков и превесел,
немного старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните? Представьте —
всей кожей об него!

— Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

8

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:

в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я все лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

9

Тут хор детей возник невдалеке:

Наш номер был объявлен.
Уста младенцев. Жуть.
Мы — яблочки от яблонь.
Вот наша месть и суть.

Вниманье! Детский лепет.
Мы вас не подведем.
Не зря великолепен
камин, согревший дом.

В лопатках — холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребеночек чужой.

Дождливость есть оплошность
пустых небес. Ура!
О пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол!

10

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?
Медведица, вы для какой забавы
в детеныше влюбленными зубами
выщелкивали бога, словно блох?

11

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина.—
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям склоненным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж тесно мне средь окон и дверей!

О господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя — голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятия.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!

12

Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик хозяйки.
И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него впивались веники и щетки.
Он вырывался. Он летел на щеки,
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя с хрусталем воскресшим.
Дом над Дождем уж замыкал свой скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблук.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:
— Не трогайте! Он мой!

Он был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:
— Учти,
еще ответишь ты за эту встречу! —
Я засмеялась:
— Знаю, что отвечу,
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13

Пугал прохожих вид моей беды.
Я говорила:
— Ничего. Оставьте.
Пройдет и это.—
На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

ОЗНОБ

Хвораю, что ли,— третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:
— Я дрожу
все более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадежила:
— Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, взглядом скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.

Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и режутся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.
Она была бы и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим приметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охолодил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:

— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невую!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — все! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — все собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем

через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Все хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь все, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморочу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалея,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом,—
подумать и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: — Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятай богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лёта два часа.
И приникаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пускай же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздыхнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

1963

РИСУНОК

Борису Мессереру

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо — рисовать
и не уметь! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпеньем новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать,—
все ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

1963

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Булату Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занес мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например — я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу»? — спросила.—
«Нельзя»,—
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в доме, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость — он в гостях не гостил, а царил.
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди вьюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращенный в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я — загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.
Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы — дитя мое, баловень и протезе.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злему сиротству сестра?
Как остра эта грусть — озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зреньё провидца.

В остальном — благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, — сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь».
В это время открылась закрытая дверь.
Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след — лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала — скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

* * *

Случилось так, что двадцати семи лет от роду мне выпала отрада жить в замкнутости дома и семьи, расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру, с которым справедливая природа следит за увяданием в бору или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев, не ведать мысли, не промолвить слова и в детском неразумии дерев терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава, чиста душой, как прочие растенья, не более умна, чем деревья, не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок, в пустой пробел, где близко и приметно белел во мраке очевидный бог, имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать и так близка большая ласка бога, что прядь со лба — чтоб легче целовать — я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века, я углублялась в землю и деревья. Никто не знал, как мука велика за дверью моего уединенья.

1964

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит.
Живой и мрачной силой он напрягся.
То, что тебя покинуть норовит,—
пуская покинет, что́ держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба,
и потому — с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моем мозгу и чернотой меж век,
все плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой судьбе,
в своей низжайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где — только-то! — через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

1964

**ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ**

Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья,—
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха иль цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья,—
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: — Не плачь, мое дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар.—
Здесь все мертво и не способно к плачу.—
Он, все еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать все, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, средь слабоумия сомнений,
в уме моем сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр.— Фонарь? — Футляр!
— Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи.—

Он бледен стал и закричал: — О боже!
Все, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны,—
сказала я,— я не люблю пластмассы.—
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.
Минувший век. Изящная работа.
И все это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в легком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озаренный.—
В нем сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар.—
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите все! Мне все осточертело!
Пусть все мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы,
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте,
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнять ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и всё. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад,—
проговорился антиквар печальный.—
Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и каменья сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Все вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменялись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромненький, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила.—
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, весь кротость, доброта,
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нимало,
я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что все-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели,—
сказала я,— хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов,—
сказала я,— мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Все это ложь, изложенная длинно,—
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг,

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем доме!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

СОН

О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть? Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Все знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
возделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец. И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль, и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней,
а нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю: — Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетием прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а все свежи
в ладонях нежности — к родимой
коре деревьев, запах дымный
в саду все тот же.

— Не скажи! —
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил: — Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.

— Возможно, но — жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и все затем, чтоб не расстаться
с той нежностью? Вот что смешно.

1965

СЛОВО

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна» —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь — в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проема,
чтоб уместить во всей красе объема
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.

1965

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нем
рана черная в горле моем.

Сколь достойны хвалы и любви,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во все, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

1965

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — Забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя — как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лед глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунет союзник.

А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.

Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до — ре, до — речи, до — всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —

раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это все — для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

1965

* * *

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача?

Две бессмыслицы — мертв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усилием двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощения, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

1966

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Все началось далекою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышиный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее — меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал ее, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но все же был лишь захолустьем крыш,
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге пред прочею землюю.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час — не больше, чем строка:
все тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком — красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбив, допев
труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым острием локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя,
ты — богово, тебя у бога мало.

Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру
вседобрый африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки,—
клянусь убить Елабугу твою.
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

старухи будут их стращать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет Елабуга слепая».

О, как она всей путаницей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержат подольше.
Детенышей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининового смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня Елабуга клянется.

* * *

Зима на юге. Далеко зашло
ее вниманье к моему побегу.
Мне — поделом. Но югу-то за что?
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду
растений полумертвые подранки.
Гнев севера меня имел в виду,
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?
Сил не было иметь температуру,
которая бездомью моему
не даст погибнуть спьяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,
под натиском ее несправедливым,
я отступала в теплый тыл земли,
пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,
повис над морем — если море это:
волна, недавно бывшая водой,
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,
мороз кончины им сулят прогнозы.
Не твой ли ямб, любовь моей души,
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне, теплицы красоты!
Я удалюсь и все это улажу.
Зачем влекла я в чуждые сады
судьбы моей громоздкую поклажу?

Мой ад — при мне, я за собой тяну
суму своей печали неказистой,
так альпинист, взмывая в тишину,
с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь — так обнаглеть и занестись,
чтоб дисциплину климата нарушить!
Вернулась я, и обжигает кисть
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,
лишила юг опалы снегопада.
Сладчайшего цветения прилив
был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.
Краса мурашек серебрит мне спину.
И, в сущности, я польщена весьма
влюбленностью зимы в мою ангину.

1967

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
удобной насекомым и растениям,—
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледаколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,
что, ринувшись на поиски беды,—
как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
— О господи! Твой худший ученик,
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он все отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: — Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом!

Он жил в чужом доме, в чужом саду, —
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытья
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это — гонорар
за представленья: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотой съедает,
что гостя, умница, искусствовед,
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведal истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна — не много и не мало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?
Ужели в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу —
невоспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!

Разве я ее вождь и судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада! —
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада?

Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех,
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму
быть немым очевидцем природы,
не добавив ни слова к тому,
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль стола?
Это отдых, награда за муку,
когда темною тяжестью лба
упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.
Забываю про руку: пусть пишет.
Навсегда разминулись — гроза
и влюбленный уродец эпитет.

Между тем удается руке
детским жестом придвинуть тетрадку
и в любви, в беспокойстве, в тоске
все, что есть, описать по порядку.

1967

ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,
неграмотным я рыщу взглядом.
Я мало смыслю в декабре,
что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад — не различить.
Здесь свадьба двух стихий творится.
Их совпадение разлучить
не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь
не вклинится! Им не заметен
медопролитный крах плодов,
расплющенных объятьем этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!
Погибнут дождь и сад друг в друге,
оставив мне решать судьбу
зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь
для мимолетной щели светлой,
чтоб птицы маленькая дрожь
вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,
что в промежуток их раздора
мне б следовало втиснуть дом,
где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна
два раза вытерпеть усладу:
страдать от сада и дождя
и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нем все мертво!
Не я ли совершила это?
Приют сиротства моего
моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,
но все ж не той и не настолько,
чтоб выпрошенной мной бедой
чужие вышибало стекла.

Все дождь и сад сведут на нет,
изгнав из своего объема
необязательный предмет
вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нищей конуре
так возгордиться духом слабым,
чтобы препятствовать игре,
затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,
с ее деревьями и мглою,
чужое место на земле,
некстати занятое мною?

1967

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отравы?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая,—
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

* * *

Памяти О. Мандельштама

В том времени, где и злодей —
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.

Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.

Та — бог иль барышня? Мольба —
чрез сотни верст любви нечеткой.
Любуется! И гений лба
застенчиво завешен челкой.

Но век желает пировать!
Измученный, он ждет предлога —
и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.

Знал и сказал, что будет знак
и век падет ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершенной речи.

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта.
Довольно, чтоб ее пресечь
и меньшего усердья быта.

Ему — особенный почет,
двойное злорадство неба:
певец, снабженный кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: «Мандельштам любил пирожные». Я рада узнать об этом. Но дышать — не хочется, да и не надо.

Так, значит, пребывать творцом,
за спину заломивши руки,
и безымянным мертвецом
все ж недостаточно для муки?

И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?

В моем кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! И я его кормлю
огромной сладостью! И плачу!

1967

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Юрию Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний — так скучно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
все длится, и я, всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю — в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний — огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали тебя погостить
в дому у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши, — скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель и двух малых детей
печальный топочет вокруг хороводик.
Два детские личика умудрены
улыбкой такую усталой и вечной,
как будто они в мирозданье должны
нестись и описывать круг бесконечный.
Как будто творится века напролет
все это: заоблачный лепет свирели
и маленьких тел одинокий полет
над прочностью мира — во мгле акварели.
И я, притаившись в тени голубой,
застыв перед тем невеселым весельем,
смотрю на суровый их танец, на бой
младенческих мышц с тяготеньем вселенным.
Слабею, впадаю в смятенье невежд,
когда, воссияв над трубою подзорной,

их в обморок вводит избыток небес,
терзая рассудок тоской тошнотворной.
Но полно! И я появляюсь в дверях,
недаром сюда я брела и спешила.
О счастье, что кто-то так радостно рад,
рад так беспредельно и так беспричинно!
Явлению моих одичавших локтей
художник так рад, и свирель его рада,
и щедрые ясные лица детей
даруют мне синее солнышко взгляда.
И входит, подходит та, милая, та,
простая, как холст, не насыщенный грунтом.
Но кроткого, смиренного лба простота
пугает предчувствием сложным и грустным.
О скромность холста, пока срок не пришел,
невинность курка, пока пальцем не тронешь,
звериный, до времени спящий прыжок,
нацеленный в близь, где играет звереныш.
Как мускулы в ней высоко взведены,
когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом бесподобным.
О девочка цирка, хранящая дом!
Все ж выдаст болезненно-звездная бледность —
во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.
Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой отвечает гневу нужды,
каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.
И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком неочевидным,
и рученьку боязно в руку принять,
как тронуть скорлупку в гнезде соловьином.

И я говорю: — О, давайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,

подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее чистых отверстий.
Художник на бочке высокой сидит,
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и все, что случится,— еще не беда,
ах, господи боже мой, вот вечеринка,
проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,
и кто мы такие, и что это вдруг
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,
и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И посреди тишины
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,
случайно узнать, что стоят деревья
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

1967

СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма деревьев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не села, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
прометчиво медлит душа.

1967

МЕТЕЛЬ

Февраль — любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берет себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность перевел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрузив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.

1968

* * *

Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятие службой важной.

Прощай! Все минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.

В саду у дома и в дому
внедрив многозначенье грусти,
внушала жимолость уму
невнятный помысел о Прусте.

Смотрели, как в огонь костра,
до сна в глазах, до мути дымной,
и созерцание куста
равнялось чтению книги дивной.

Меж наших двух сердец — туман
клубился! Жимолость и сырость,
и живопись, и сад, и Сван —
к единой муке относились.

То сад, то Сван являлись мне,
цилиндр с подкладкою зеленой
мне виделся, закат в Комбре
и голос бабушки влюбленной.

Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть,— из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.

1968

ПРЕРЕКАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем как ступить на балкон,
я велю тебе, богово чудо:
пребывай в отчужденье благом!
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,
постыдись этой детской уловки.
Я-то знаю твой кроткий разбой,
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,
проболтавшийся баловень пыток,
смертным выдохом ран горловых
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем
не таращ и предайся блаженству.
Хватит рыскать в рассудке моем
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,
выпит мед из таинственных амфор.
И по чину ль твоей красоте
примерять украшенья метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил
семицветие белого света,
как голодным тщеславьем твоим
клянчишь ты подаяний поэта?

Прогоняю, стращаю, кляню,
выхожу на балкон. Озираюсь.
Вижу дерево, море, луну,
их беспамятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,
говорю: о, даруй мне пощаду,—
погуби меня, только прости!
И откуда-то слышу: — Прощаю...

1968

* * *

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возымев во времени былом
день нынешний, — за все я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне
и набело, навек во мне очнутя.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть,—
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

1968

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ

В тот день случился праздник на земле.
Для ликования все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоема.

Еще и тем был сон воды храним,
что, намертво рожден из алебастра,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недалняя родня —
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустыком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела — при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.

1968

СЕМЬЯ И БЫТ

Ане

Сперва дитя явилось из потемок
небытия.

В наш узкий круг щенок
был приглашен для счастья.

А котенок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шел сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстрой педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице — мы отойдем и ждем.
Но все ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе,
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пес. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, все больше молодое,
все больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти —
подумало, дитя сказало: — Ежик,
прости меня, за все меня прости.

И впрямь — прости, любая жизнь живая!
Твою в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витают, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетаю,
и все это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идем во двор и там непревзойденно
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,
развязный грешник, я взяла себе
и хищно и неопытно владела
углом стола и лампой на столе.
На каторге таинственного дела
о вечности радел петух в селе,
и, пристальная, как монгол в седле,
всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора
между луной и душами зверей,
впадали в длинный воздух коридора,
исторгнутые множеством дверей,
течения полуночного вздора,
что спит в умах людей и словарей,
и пререкались дактиль и хорей —
кто домовый и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,
но ослабел для совершенья сна,
из глуби лбов, как из отверстых амфор,
рассеивалась спертость ремесла.
Обожествляла влюбчивость метафор
простых вещей невзрачные тела.
И постояльца прежнего звала
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чем важный смысл чудовищной затеи:
вникать в значенье света на столе,
участвовать, словно в насущном деле,
в судьбе светил, играющих в окне,
и выдержать такую силу в теле,
что тень его внушила шрам стене!
Не знаю. Но еще зачтется мне
бесславный подвиг сотворенья тени.

1968

СТРОКА

...Дорога не скажу куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,
проигрыватель — вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стесненных, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа,—
исторгнут, близится, и вот
донесся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
«...Дорога не скажу куда...»
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знанья,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы, в невежестве своем,
строкой бессмертной назовем.

1968

ОПИСАНИЕ КОМНАТЫ

Ты, населивший мглу вселенной,
то явно видный, то едва,
огонь невнятный и нетленный
материи иль божества,
ты — ангелы или природа,
спасение или напасть,
что ты ни есть, твоя свобода,
твоя торжественная власть.
Не благодать твою, не почесть,
судьба земли, оставь за мной
лишь этой комнаты непрочность,
ничтожную в судьбе земной.
Зачем с разбега бесприютства
влюбилась я в ее черты
всем разумом — до безрассудства,
всем зрением — до слепоты!
Кровать, два стула ненадежных,
свет лампы, сумерки, графин,
и вид на изгородь продолжен
красой невидимых равнин.
Творилась в этих бедных стенах,
оставшись тайною моей,
печаль пустых, благословенных,
от всех сокрытых зимних дней.
Здесь совмещались стол и локоть,
тетрадь ждала карандаша,
и, провожая мимолетность,
беспечно мучилась душа.

1968

**ОПИСАНИЕ БОЛИ
В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ**

Сплетенье солнечное — чушь!
Коварный ляпсус астрономов
рассеянных! Мне дик и чужд
недуг светил неосторожных.
Сплетались бы в сторонней мгле!
Но хворым силам мирозданья
угодно бедствовать во мне —
любимом месте их страданья.
Вместившись в спину и в живот,
вблизи наук, чья суть целебна,
болел и бредил небосвод
в ничтожном теле пациента.
Быть может, сдуру, сгоряча
я б умерла в том белом зале,
когда бы моего врача
Газель Евграфовна не звали.
— Газель Евграфовна! — изрек
белейший медик.
О удача!
Улыбки доблестный цветок,
возросший из расщелин плача.
Покуда стетоскоп глазел
на загнанную мышцу страха,
она любила Вас, Газель,
и Вашего отца Евграфа.
Тахикардический буян
морзянкою предкатастрофной
производил всего лишь ямб,
влюбленный ямб четырехстопный.
Он с Вашим именем играл!
Не зря душа моя, как ваза,
изогнута (при чем Евграф!)
под сладкой тяжестью Кавказа.
Простите мне тоску и жуть,
мой хрупкий звездочет, мой лекарь!

Я вам вселенной прихожусь —
чрезмерным множеством молекул.
Не утруждайте нежный ум
обзором тьмы нечистоплотной!
Не стоит бездна скорбных лун
печали Вашей мимолетной.
Трудов моих туманна цель,
но жизнь мою спасет от краха
воспоминанье про Газель,
дитя добрейшего Евграфа.
Судьба моя, за то всегда
благодарю твой добрый гений,
что смеха детская звезда
живет во мгле твоих трагедий.
Лишь в этом смысл — мараť тетрадь,
печалиться в канун веселья,
и болью чуждых солнц хворать,
и умирать для их спасенья.

1968

ЭТО Я...

Е. Ю. и В. М. Россельс

Это я — в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа — это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...» и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы,—
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибор,
безмянных вещей перекличку
с именующей вещи душой.
Это я — мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.
— Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.

Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шепот и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несется,
вот настиг — и озябла душа.
Это я проклиная и плачу.
Пусть бумага пребудет бела.
Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.
Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письма —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, куда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне
быть заслуженной или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,
насущенный день так подходил для пенья,
и четверо, достойных удивленья,
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых
все бы глядела до скончанья взгляда,
и ни о чем заботиться не надо:
душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,
и, уцелев меж бездною и бездной,
для совершенья распри бесполезной
поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли,
до времени сохранные от смерти.
Но что-нибудь да умерло на свете,
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.
Мои спаслись от этой лютой доли.
Но лоб склоню — и опалит ладони
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну —
пускай падут и буря, и лавина.
Я дивным пенем не прельщу дельфина
и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них — не надобно меня.
И проку нет в упреках и обмолвках.
Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках
нерасторжимы наши имена.

* * *

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба —
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей —
лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибоем площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новость встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей неведомых и острых.
Вошел убийца в сером пиджаке.
Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общенья.
Промолвил первый:

— Вот моя рука,
но все ж не пейте столько коньяка.—
И встал второй и попросил прощенья.

Я у того, кто встал, спросила:
— Вы
однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится? —
Он мне сказал:
— Я узник прежних уз.
Дитя мое, я, как тогда, боюсь —
не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заточена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!

И все ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: — Спешат твои часы.—
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

* * *

Так дурно жить, как я вчера жила,—
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожденной притчей во языцех.

Довольствоваться роскошью беды —
в азартном и злорадном нераденье
следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить шею среди пекл безводных,
от скудных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех, без лучших, мыкалась по свету,
а без себя? Не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин
и снова выжить, как это ни сложно,
под доблестной защитой мужчин,
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеясь, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиною.
И так чиста суровая душа,
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,
всему чужой, иноязычный идол,
царю во тьме огромностью лица,
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,
пред новым днем не знаю сожаленья
и медленно стираю прядь со лба
для пущего удобства размышленья.

1970

* * *

Ю. Королеву

Собрались, завели разговор,
долго длились их важные речи.
Я смотрела на маленький двор,
чудом выживший в Замоскворечье.

Чтоб красу предыдущих времен
возродить, а пока, исковеркав,
изнывал и бранился ремонт,
исцеляющий старую церковь.

Любоваться еще не пора:
купол слеп и весь вид не осанист,
но уже по камням двора
восхищенный бродил чужестранец.

Я сидела, смотрела в окно,
тосковала, что жить не умею.
Слово «скоросшиватель» влекло
разрыдаться над жизнью моею.

Как вблизи расторопной иглы,
с невредимой травой зеленой,
с бузиною, затмившей углы,
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней
и хмельных маляров перебранка
становились надеждой моей,
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик.

О запекшийся в сердце моем
и зазубренный мной без запинки
белокаменный свиток имен
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
нас возвел незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,
уцелею и я, может статься.
Ну, а нет — так придут маляры.
А потом приведут чужестранца.

1970

* * *

В той тоске, на какую способен
человек, озираясь с утра
в понедельник, зимою, спросонок,
в том же месте судьбы, что вчера...

Он-то думал, что некий гроссмейстер,
населивший пустой небосвод,
его спящую душу заметит
и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь сновидений,
ход светил и раздор государств
не внесли никаких изменений
в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,
он способствует этим тому,
что, болевшая ночью в затылке,
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью
прежде матери, прежде отца,
оснащенный звездой и свирелью,
кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом над бровью,
улыбнулся и скрылся вдали.
Прибежали на крик к изголовью —
и почтительно прочь отошли.

В понедельник, в потемках рассвета,
лбом уставясь в осколок стекла,
видит он, что алмазная мета
зажила и быльем поросла.

...В той великой, с которою слада
не бывает, в тоске — на века,
я брела в направленье детсада
и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.
Возжигатель грядущего дня,
вождь метели, зачинщик восхода,
что за дело тебе до меня?

Мне ответствовал свет безмятежный,
и указывал свет или смех,
что еще молодою и нежной
я ступлю на блистающий снег,
что вблизи, за углом поворота,
ждет меня несказанный удел.
Полыхнуло во лбу моем что-то,
и прохожий мне вслед поглядел.

1971

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Замечаю, что жизнь не прочна
и прервется. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было — страшусь и спешу:
есмь сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времен
горб — натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —
лишь скучая, но не сострадаю,
и прощу: тот, кто молод, — любим.
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнет прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное уже совершилось.

1972

* * *

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи,—
без них я не жалела умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее — блаженством я зову.

70-е

ПЕСЕНКА ДЛЯ БУЛАТА

Мой этот год — вдоль бездны путь.
И если я не умерла,
то потому, что кто-нибудь
всегда молился за меня.

Все вкривь и вкось, все невпопад,
мне страшен стал упрек светил,
зато — вчера! Зато — Булат!
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошед,
Булат мне ключик подарил.
Мне этот ключик — для волшебств,
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой
и знать, что старой — не бывать.
Зато — мой ключик золотой,
а подарил его — Булат.

Слова из губ — как кровь в платок.
Зато на век, а не на миг.
Мой ключик больше золотой,
чем золото всех недр земных.

И все теперь пойдет на лад,
я буду жить для слез, для рифм.
Не зря — вчера, не зря — Булат,
не зря мне ключик подарил!

1972

ДОМ И ЛЕС

Этот дом увядает, как лес...
Но над лесом — присмотр небосвода,
и о лесе печется природа,
соблюдая его интерес.

Краткий обморок вечной судьбы —
спячка леса при будущем снеге.
Этот дом засыпает сильнее
и смертельней, чем знают дубы.

Лес — на время, а дом — навсегда.
В доме призрак — бездельник и нищий,
а у леса есть бодрый лесничий
там, где высшая мгла и звезда.

Так зачем наобум, наугад
всуге связывать с осенью леса
то, что в доме разыграна пьеса
старомодная, как листопад?

В этом доме, отцветшем дотла,
жизнь былая жила и крепчала,
меж висков и в запястьях стучала,
молода и бессмертна была.

Книга мучила пристальный лоб,
сердце тяжело по сердцу томилось,
пекло совести грозно дымилось
и вперялось в ночной потолок.

В этом доме, неведомо чьем,
старых записей бледные главы
признаются, что хочется славы...
Ах, я знаю, что лес ни при чем!

Просто утром подуло с небес
и соринкою, втянутой глазом,
залетела в рассеянный разум
эта строчка про дом и про лес...

Истощился в дому домовой,
участь лешего — воля и нега.
Лес — ничей, только почвы и неба.
Этот дом — на мгновение — мой.

Любо мне возвратиться сюда
и отпраздновать нежно и скорбно
дивный миг, когда живы мы оба:
я — на время, а лес — навсегда.

1973

* * *

Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду

Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.

Все заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.

1973

* * *

Опять сентябрь, как тьму времен назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
все кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшной, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
писать в тетрадь — с последнею росой
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистойвой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас ее пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щелку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щеку.

1973

* * *

Я завидую ей — молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —
нарушенье черты и предела
и востока незванная власть,
так — на северный край чистотела
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей — молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья,
я завидую ей же — седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом,
то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излученным звездой и звездой,
с этим неопишуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,
нищей пленнице рая иль ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

70-е

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.

С тем — через «ять» — сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,
вовек сохраненный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лике
прочсть известие о даре
так просто, как название книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и челку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами: как угодно!
И выведет: Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пусть она допишет: «Анна
Ахматова» — и капнет точку.

1973

* * *

Сад еще не облетал,
только береза желтела.
«Вот уж и август настал»,—
я написать захотела.

«Вот уж и август настал»,—
много ль ума в этой строчке,—
мне ль разобраться? На сад
осень влияла все строже.

И самодержец души
там, где исток звездопада,
повелевал: — Не пиши!
Августу славы не надо.

Слиткам последней жары
сыщешь эпитет не ты ли,
коль золотые шары,
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.
Плод упал переспелый.
Возле меня и стола
день угасал не воспетый.

В прелести действий земных
лишь тишина что-то значит.
Слишком развязно о них
бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,
по багрецу перелеска,
Пушкин, октябрь наступил.
Сколько прохлады и блеска!

Лед поутру обметал
ночью налитые лужи.
«Вот уж и август настал»,—
ах, не дописывать лучше.

Бедствую и не могу
следовать вещим капризам.
Но золотится в снегу
августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.
Весело при снегопаде
слышать, как вечный диктант
вдруг достигает тетради...

1973

* * *

Что за мгновенье! Родное дитя
дальше от сердца, чем этот обычай:
красться к столу сквозь чащобу житья,
зренье возжечь и следить за добычей.
От неусыпной засады моей
не упасется ни то и ни это.
Пав неминуемой рысью с ветвей,
вцепится слово в загривок предмета.
Эй, в небесах! Как ты любишь меня!
И, заточенный в чернильную склянку,
образ вселенной глядит из темна,
муча меня, как сокровище скрягу.
Так говорю я и знаю, что лгу.
Необитаема высь надо мною.
Гаснут два фосфорных пекла во лбу.
Лютый младенец кричит за стеною.
Спал, присосавшись к сладчайшему сну,
ухом не вел, а почуял измену.
Все — лишь ему, ничего — ремеслу,
быть по сему, и перечить не смею.
Мне — только маленькой гибели звук:
это чернил перезревшая влага
вышибла пробку. Бессмысленный круг
букв нерожденных приемлет бумага.
Властвуй, исчадие крови моей!
Если жива — значит, я недалече.
Что же, не хуже других матерей
я — погубившая детище речи.
Чем я плачу за улыбку твою,
я любопытству людей не отвечу.
Лишь содрогнусь и глаза притворю,
если лицо мое в зеркале встречу.

1973

ОЖИДАНИЕ ЕЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трехглавая тень,
Пущин минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжался над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Все вам верну, ничего не отнявши.
Грозно-живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость — мучительно радости ждаты!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь и страданье, и все это — ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

1973

* * *

Так, значит, как вы делаете, други?
Пораньше встав, пока темно-светло,
открыв тетрадь, перо берете в руки
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня — все хуже, все иначе.
Свечу истрачу, взор сошлю в окно,
как второгодник, не решив задачи.
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала — ночь отчаянья и бденья,
потом (вдруг нет?) — неуловимый звук.
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,
а мне сегодня лень и недосуг.

1973

* * *

Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты забритые в поэты,
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых все нечетко!
Указка им — лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и челка.
Под челкой — лоб. Под кружевами — хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, «мне страшно!» говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.
Не позабудь, прижав ее к груди:
все, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки,—
что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А все ж — пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
надела прах вчерашнего пера
и — прочь, одна, в бесхитростную участь
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза, — как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чем. Ее душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней — ей это все равно.
О муке речь. Но в степень этой муки
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил — не помнишь нынче с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не уронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.

ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ
О ПУШКИНЕ

1. Он и Она

Каков? — Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот —
не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах — та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).
Собаньская (Ржевусской рождена,
но рано вышла замуж, муж — Собаньский,

бесхитростен, ничем не знаменит,
тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заменить
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.
Одесса. Разом — ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
как он. Ему — двадцать четыре года.

Звать — Каролиной. О, из чаровниц!
В ней все темно и сильно, как в природе.
Но вот письма французский черновик
в моем, почти дословном, переводе.

2. Он — Ей

(Ноябрь 1823 года, Одесса)

Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок
(зачеркнуто)... Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,
но Ваш отъезд к печальному концу
судьбы приравниваю. Сердцу тесно
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумен, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...

1973

ЛЕРМОНТОВ И ДИТЯ

Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне.
Вдруг сердце вознеслось и взмыло надо мною,
сопутствовало мне стороннею луною,
и муки было в нем не боле, чем в луне.
Но — люди говорят, и я так говорю.
Иначе как сказать? Под сердцем —

так под сердцем.

Уж сбылся листопад. Извечным этим средством
не пренебрег октябрь, склоняясь к ноябрю.
Я все одна была, иль были мы одни
с тем странником, чья жизнь все больше оживала.
Совпали блажь ума и надобность журнала —
о Лермонтове я писала в эти дни.

Тот, кто отныне стал значением моим,
кормился ручейком невзрачным и целебным.
Мне снились по ночам Васильчиков и Глебов.
Мой исподлобный взгляд присматривался к ним.
Был город истомлен бесснежным февралем,
но вскоре снег пошел, и снега стало много.
В тот день потупил взор невозмутимый Монго
пред пристальным моим волшебным фонарем.
Зима еще была сохранна и цела.

А там — уже июль, гроза и поединок.

Мой микроскоп увяз в двух непроглядных

льдинах,

изъятых из глазниц лукавого царя.

Но некто рвался жить, выпрашивал:

«Скорей!»

Томился взаперти и в сердцеvine круга.
Успею ль, боже мой, как брата и как друга,
благословить тебя, добрейший Шан-Гирей?
Все спуталось во мне. И было все равно —
что Лермонтов, что тот, кто восходил из мрака.
Я рукопись сдала, когда в сугробах марта
слабело и текло водою серебро.

Вновь близится декабрь к финалу своему.
Снег сыплется с дерев, пока дитя ликует.
Но иногда оно затихнет и тоскует,
не ведая: кого недостает ему.

1973

ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.
И тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни брэнной,
уехала, а дом сдала.
Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездою
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольню сообщались мы.
Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,
тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.
Я полюбила тратить зренья
на этот мимолетный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая, как снег.

Брат был свободней и не должен
вставать, пока не встанет день.
«Кто он? — я думала. — Художник?»
А думать дальше было лень.
Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру

и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.
Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не все ль равно?
Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязычных книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.
Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились — не тесно,
не участив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.
Мы сиживали в час заката
в саду, где липа и скамья.

Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!
Я шла домой и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тек август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.
— Мы едем,— молвила сестра.
Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаетесь Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недалновидный,
я тронул на снегу Ваш след?

Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился — еле видный,
доньне излучает свет
ладонь...» — с печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,
и заскучала...
Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.

Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
— Но где ж роман? — читатель спросит.—
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем — все есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.
Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немее сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной
другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —
то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: — Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?! —

Вовсе нет.

Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблен в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!
В час грустных наших посиделок
твержу ему: — Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль ты таков — во мглу веков
назад сошлю! —
Не отвечает
и думает: «Она стихов
не пишет часом?» — и скучает.

Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

* * *

Потом я вспомню, что была жива,
зима была и падал снег, жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?

Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)... День-деньской,
ночь напролет я влюблена была —
в кого? во что?

В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.

Художника дела
влекли наружу, в стужу. Я ждала
его шагов. Смеркался день в окне.
Потом я вспомню, что казался мне
труд ожиданья целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности — с тоской
грядущее... А дом на Поварской —
с немыслимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нем...

1974

ДОМ

Борису Мессереру

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вдыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам — празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.

Какой полет великолепный,
как сердце бедное несло
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум ждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбилась
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжело старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пес иль брат.

Со свалки времени бывшего
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещей граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю
и так же голову держу.

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проем.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул — капризник и чужак.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и все играла надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,
все это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно...

1974

* * *

Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и все смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву.
Я думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит —
все есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священной?

День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участия моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зоется Хлебным.

1974

* * *

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Еще за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть — вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хоря
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щеки,
смесь чудную коварства и проказ —
я все воспела, мы теперь в расчете,
последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал — поверит, что я жизнь мою,
всю напролет, навтыяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверье и детвору.

Наскучило чудовищем бесполом
быть, другом, братом, сводником, сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом
пред тем, как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступая талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом.
А что есть ямб — знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я — я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это все неправда!
Я знаю вас — вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проноситеесь, смеясь и лепеча.
Суть женственности вечно золотая
всех, кто поэт, священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая,
сердцем втиснувшись в сердце — века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, ухожу ли —
не слабее с той давней поры
их объятье густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

1974

* * *

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в огне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились?
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...

1974

* * *

Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду... февраль прохладой лечит
жар щек... и снегу намело
так много... и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

1974

* * *

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.

— Вам сколько лет? — Ответила:

— Осьмнадцать,—

Многоугольник скул, локтей, колен.

Надменность, угловатость и косматость.

Все чуждо в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролет при лампе и тетради.

Так и сказала: — Мне осьмнадцать лет.

Меня никто не понимает в доме.

И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! —

И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,

и как добра, и как жадна до боли.

Я улыбаюсь. Знаю, что — давно,

а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно — скорей,

не расточив из времени ни часа,

робеть, не зная прелести своей,

печалиться, не узнавая счастья...

1974

* * *

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела — и поила грудью,
хотела — медом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.
Все более я пред людьми безгрешна,
все более я пред детьми виновна.

1974

ЧУЖАЯ МАШИНКА

Моя машинка — не моя.
Мне подарил ее коллега,
которому она мала,
а мне — как раз, но я жалела
ее за то, что человек
обрек ее своим поведением,
и, сделавшись живей, чем вещь,
она страдала, став подарком.
Скучал и бунтовал зверек,
неприрученный нрав насупив,
и отвергал как лишний слог
высокопарнейший мой суффикс.
Пришелец из судьбы чужой
переиначивал мой почерк,
меня неведомой душой
отяготив, но и упрочив.
Снесла я произвол благой
и сделалось судьбой моею —
всегда желать, чтоб мой глагол
был проще, чем сказать умею.
Пока в себе не ощутишь
последней простоты насущность,
слова твои — пустая тишь,
зачем ее слагать и слушать?
Какое слово предпочесть
словам, их грешному излишку —
не знаю, но всего, что есть,
укор и понуканье слышу.

1974

ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега
скрипела, и маленький лес
просил подаяния снега
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:
какая невзрачная рань!
Мы оба тоскуем смертельно,
не выжить нам, брат мой февраль.

Бесснежье голодной природы,
измучив поля и сады,
обычную скудость невзгоды
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,
светало, а солнце не шло.
Взамен плодородного неба
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы
не надо, и поздно уже.
Лишь бедная прибыль снежинки
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,
я знала морщинами лба,
что я в эту зиму устала
ски аться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто-то томился и бегал,
твердил: «Его нет! Его нет!»
Смеркалось, а он все обедал,
вкушал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!
Мой почерк мне скушен и нем.
Писать, как хочу, не умею,
писать, как умею,— зачем?

Стекло голубело, и дивность
из пекла антенн и реле
пристекала, и длилась,
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка диктор,
над бездной земли и воды
одной в мироздании диком
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала
меж башней и зреньем людей,
открылась небесная тайна
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,
и доблестный твой голосок
неоспоримо и смело
падение снега предрек.

Сказала: грядущую ночью
начнется в Москве снегопад.
Свою драгоценную ношу
на нас облака расточат.

Забудет короткая память
о муке бесснежной зимы,
а снег будет падать и падать,
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,
чрезмерной любовью судьбы,
услადю губ и напитком,
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,
богатством снабдит бедняка,
и в этом блаженстве белейшем
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете
метели вседобрая власть,
и будем мы — баловни, дети
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так все и было.
Снег падал и долго был жив.
А я — влюблена и любима,
и вот моя книга лежит.

1975

**МОСКВА
НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ**

(Отрывок)

Родитель-хранитель-ревнитель души,
что ластишься чудом и чадом?
Усни, не тарашь на луну этажи,
не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин
в ночь первого сильного снега?
(Мой друг, твое имя окликнет с афиш
из отчужденья, как с неба.

То ль скареда лампа жалеет огня,
то ль так непроглядна погода,
мой друг, твое имя читает меня
и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть,
орды угомон и поминки,
блаженная пестрядь, родимая речь —
всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак
в садочке, в калине-малине.
И вдруг ни с того ни с сего, просто так,
в ресницах — слеза по Марине...

1975

* * *

Я школу Гнесиных люблю,
пока влечет меня прогулка
по снегу, от угла к углу,
вдоль Скатертного переулка.

Дорожка — скатертью, богат
крахмал порфироносной прачки.
Моих две тени по бокам —
две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю
за песнь, за превышение прозы,
за желтый цвет, что ноябрю
предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг
за толщей желтой штукатурки,
что делает согбенный звук
внутри захлопнутой шкапулки?

Сподвижник музыки ушел —
где музыка? Душа погасла
для сна, но сон творим душой,
и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком
и не доказана нимало,
что делает тайком, молчком
ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины
она растет прыжком подспудным,
и сны ее совершенны
сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю
в ночи, но более при свете,

скользя по утреннему льду,
ловить еду в худые сети.

Влеку суму житья-бытья.
Иному подлежа влеченью,
возвышенно бредет дитя
с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,
с недоуменьем обнаружу,
что безбоязненный бемоль
порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,
ей надобно доверье к храму,
где чьи-то детские уста
веки распевают гамму,

и крошка-музыкант таков,
что, бодрствуя в наш час дремотный,
один вдоль улиц и веков
всегда бредет он с папкой нотной.

Я школу Гнесиных люблю,
когда бела ее ограда
и сладкозвучную ладью
колышут волны снегопада.

Люблю ее, когда весна
велит, чтоб вылезли петуньи,
и в даль открытого окна
доверчиво глядят певуньи.

Зачем я около стою?
Мы слух на слух не обменяем:
мой — обращен во глубь мою,
к сторонним звукам невменяем.

Прислушаюсь — лишь боль и резь,
а кажется — легко, легко ведь...
Сначала — музыка. Но речь
вольна о музыке глаголить.

* * *

Стихотворения чудный театр,
нежся и кутайся в бархат дремотный.
Я — ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я — лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосыгаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мука, когда раздирают отверстия
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран
стихотворения чудный театр.

1975

АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Как мило все было, как странно.
Луна восходила, и Анна
печалилась и говорила:
— Как странно все это, как мило.—
В деревьях вблизи ипподрома —
случайная сень ресторана.
Веселье людей. И природа:
луна, и деревья, и Анна.
Вот мы — соучастники сборищ.
Вот Анна — сообщник природы,
всего, с чем вовеки не споришь,
лишь смотришь — мгновенья и годы.
У трав, у луны, у тумана
и малого нет недостатка.
И я понимаю, что Анна —
явление того же порядка.
Но если вблизи ипподрома,
но если в саду ресторана
и Анна, хотя и продрогла,
смеется так мило и странно,
я стану резвей и развязней
и вымолвлю тост неизбежный:
— Ах, Анна, я прелести вашей
такой почитатель прилежный.
Позвольте спросить вас: а разве
ваш стих — не такая ж загадка,
как встреча Куры и Арагвы
близ Мцхета во время заката?
Как эти прекрасные реки
слились для иного значенья,
так вашей единственной речи
нерасторжимы теченья.
В ней чудно слова уцелели,
сколь есть их у Грузии милой,
и раньше — до Свети-Цховели,
и дальше — за нашей могилой.

Но, Анна, вот сад ресторана,
веселье вблизи ипподрома,
и слышно, как ржет неустанно
коней неусыпная дрема.
Вы, Анна,— ребенок и витязь,
вы — маленький стебель бесстрашный,
но, Анна, клянитесь, клянитесь,
что прежде вы не были в хашной! —
И Анна клялась и смеялась,
смеялась и клятву давала:
— Зарей, затевающей алость,
клянусь, что еще не бывала! —
О жизнь, я люблю твою сущность:
луну, и деревья, и Анну,
и Анны смятенье и ужас,
когда подступали к духану.
Слагала душа потаенно
свой шелест, в награду за это
присутствие Галактиона
равнялось избытку рассвета,
не то чтобы видимо зренью,
но очевидно для сердца,
и слышалось: — Есмь я и рею
вот здесь, у открытого среза
скалы и домов, что нависли
над бездной Куры близ Метехи.
Люблю ваши детские мысли
и ваши простые утехи.—
И я помышляла: покуда
соседом той тени не стану,
дай, жизнь, отслужить твое чудо,
ту ночь, и то утро, и Анну...

* * *

Гие Маргвелашивили

Я столько раз была мертва
иль думала, что умираю,
что я безгрешный лист мараю,
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,
страх поутру, что все сначала.
Но Грузия меня всегда
звала к себе и выручала.

До чудных слез любви в зрачках
и по причине неизвестной,
о, как, когда б вы знали,— как
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомек —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял,
и я ни разу не спросила:
за что дарами осыпал
и мне же говорил «спасибо»?

Какую жизнь ни сотворю
из дней грядущих, из тумана,—
чтоб отслужить любовь твою,
все будет тщетно или мало...

1975

* * *

Помню — как вижу, зрачки затемню
вѣками, вижу: о, как загорело
все, что растет, и, как песнь, затяну
имя земли и любви: Сакартвело.

Чуждое чудо, грузинская речь,
Тереком буйствуй в теснине гортани,
ах, я не выговорю — без предтеч
крови, воспитанной теми горами.

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше — во мне, если в почву вошла
косточка — выйдет она на поверхность.

Слепы уста мои, где поводырь,
чтобы мой голос впотьмах порезвился?
Леса ли оклик услышу, воды ль —
кажется: вот говорят по-грузински.

Как я люблю, славянин и протак,
недосягаемость скороговорки,
помнишь: лягушки в болоте... О, как
мучают горло предгорья, пригорки

грамоты той, чьи вершины в снегу
Ушбы надменной. О, вздор альпенштока!
Гмерто, ужель никогда не смогу
высказать то — несказанное что-то?

Только во сне — велика и чиста,
словно снега,— разрастаюсь и рею,
сколько хочу услаждаю уста
речью грузинской, грузинскою речью...

1975

* * *

Я знаю, все будет: архивы, таблицы...
Жила-была Беллиа... потом умерла...
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упал солнцепек проливной
и не было в городе этом подвала,
где б Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи мерцают родимые лица.
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! — Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.

1975

ЛУНА В ТАРУСЕ

Двенадцать часов. День июля десятый
исчерпан, одиннадцатый — не почат.
Меж зреющей датой и датой иссякшей —
мгновенье, когда телеграф и почтамт
меняют тавро на тавро и печально
вдоль времени следуют бланк и конверт.
До времени, до телеграфа, почтамта
мне дальше, чем до близлежащей,— о нет,
до близплывущей, пылающей ниже,
насущней, чем мой рукотворный огонь
в той нише, где я и крылатые мыши,—
луны, опаляющей глаз сквозь ладонь,
загаром русалок окрасившей кожу,
в оклад серебра облекающей лоб,
и фосфор, демаскирующий кошку,
отныне и есть моя брэнная плоть.

Я мучу доверчивый ум рыболова,
когда, запалив восковую звезду,
взмываю в бревенчатой ступе балкона,
предавшись сверканью, как будто труду.
Всю ночь напролет для неведомой цели
бессмысленно светится подвиг души,
как будто на ветку рождественской ели
повесили шар для красоты и ушли.
Сообщник и прихвостень лунного света,
смотрю, как живет на бумаге строка
сама по себе. И бездействие это
сильнее поступка и слаще стиха.
С луной разделив ее труд и мытарство,
последним усилием свечу загашу
и слепо тащусь в направленье матраца.
За горизонт бытия захожу.

1976

* * *

Деревни Бёхово крестьянин...
А звался как и жил когда —
все мох сокрыл, затмил кустарник,
размыла долгая вода.
Не вычитать из недомолвок
непрочного известняка:
вдруг, бедный, он остался молод?
Да, лишь одно наверняка
известно.
И не больше вздора
все прочее, на что строку
потратить лень.
Дождь.
С косогора
вид на Тарусу и Оку.

1976

ТАРУСА

Марине Цветаевой

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв — такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.

Ты победил. Виктория — твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц, иль как ее... Видна
звезда небес, как бред и опечатка

в твоём дикоязычном букваре.
Ура, ты победил, недаром злился
и морщил лоб при этих — в серебре,
безумных и недремлющих из гипса.

Дом отдыха — и отдыхай, старик.
Прости меня. Ты не виновен вовсе,
что вижу я, как дом в саду стоит
и музыка витает окон возле.

III

Морская — так иди в свои моря!
Оставь меня, скитайся вольной птицей!
Умри во мне, как в мире умерла,
темно и тесно быть твоей темницей.

Мне негде быть, хоть все это — мое.
Я узнаю твою неблагосклонность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты — рвущийся из душной кожи лотос.

Ступай в моря! Но коль уйдешь с земли,
я без тебя не уцелею. Разве —
как чешуя, в которой нет змеи:
лишь стройный воздух, вьющийся
в пространстве.

IV

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать — иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, ее любившие, брезгливы
ко мне чернила, и тетрадь гола.
Рак на безрыбье или на безглыбье
пригорок — вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей — ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
их бедных бед, а рыба немота
не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

V

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увижу льва и: — Это лев! — скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
с тем, о котором вымолвит: — Се лев.
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,
просила море: — Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятной звездой.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: — Прочь! Мне надобно пройти.—
И вот проходит — море расступилось.

VI

Как знать, вдруг — мало, а не много:
невхожести в уют, в уют
такой, что даже и острога
столь бесприютным не дают;

мгновения: завидев Блока,
гордыней скул порозоветь,
как больно смотрит он, как блекло,
огромную приемля весть
из детской ручки;

ручки этой,
в страданье о которой спишь,
безумием твоим одетой
в рассеянные грезы спиц;

расчета: властью никакою
немыслимо пресечь твою
гортань и можно лишь рукою
твоею,—

мало, говорю,
всего, чтоб заплатить за чудный
снег, осыпавший дом Трехпрудный,
и пруд, и труд коньков нетрудный,
а гений глаза изумрудный
все знал и все имел в виду.

Две барышни, слетев из детской
светелки, шли на мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для елки приобрести звезду.

Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свертки, вся Тверская —
в мигании, во мгле, в огне.

Все время важно и вельможно
шел снег, себя даря и множа.
Сережа, поздно же, темно же!
Раз так пройти, а дальше — можно
стать прахом неизвестно где.

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекинó),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алёкино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегда,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припек огня
небесного, он от меня
все дальше и — исчезнет скоро.
Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,
отсутствую и брезжу где-то —
то ли еще, то ли уже.

И, выпроставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.
Мое сознание растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.

Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нем ответственность лежит.

1976

ПРИМЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

Борису Мессереру

О гость грядущий, гость любезный!
Под этой крышей поднебесной,
которая одной лишь бездной
всевышней мглы превзойдена,
там, где четыре граммофона
взирают на тебя с амвона,
пируй и пей за время оно,
за граммофоны, за меня!

В какой немислимой отлучке
я ныне пребываю,— лучше
не думать! Ломаной полушки
жаль на помин души моей,
коль не смогу твой пир обильный
потешить шуткой замогильной
и, как всеведущий Вергилий,
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом неимоверный,
где быт — в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам
и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда-то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,
доверься моему глаголу
и, возведя себя на гору
поверх шестого этажа,
благослови любую малость,
почти предметов небывалость,
не смей, чтобы тебя боялась
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,
всплакнет ли ящик музыкальный
иль призрак севера печальный
вдруг вздыбит желтизну седин —
пусть реет над юдолью скушной
дом, как заблудший шар воздушный,
чтоб ты, о гость мой простодушный,
чужбину неба посетил...

1976

ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,
ту, которую он почему-то считает своею,
и пеняет звезде: «Воз житья я на кручу везу.
Выдох легких таков, что отвергнут голодной свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,
что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.
Дай уста отомкнуть не для пеня, а для ротозейства».

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем это — ложь и притворство влюбленной звезды.
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.
И доносится шелест: «Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!»
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.
Еще рань и февраль; а природа цвести притерпелась.
Обнаженным зрачком и продутым навывлет плечом
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.

Чем южней его бег, тем мимоза темней и лысей.
Там, где брег и лазурь непомерны, как бред и бравада,
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,
чем загробье. Прощай. Что растет из гранитных
расселин?
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы
он целует, их слух повергая в восторженный ужас
тем, что есть его речь, содержание и образ судьбы,
так же просто, как свет для свечи — и занятие,
и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик,
будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:
если глянет сильнее — невинную жизнь опалит,
и на розовом лице останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,
чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? —
и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд
(благоденствуйте, дескать), — хоть вовремя,
но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох
на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.
Это так же удобно, как если бы чертополох
вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.
Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

* * *

Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мнением занят. И оса — дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвет,
страшась, что весть окажется печальна.

Все та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опаленный светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мед и жало.
И у меня своя здесь жертва есть.
Вот след в песке. Здесь девочка бежала.

Я помню ту — имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.
Я медленно навстречу ей иду —
на двадцать лет красивей и предсмертней.

— Все пишешь, — я с усмешкой говорю. —
Брось, отступись от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно все, чего ты ждешь теперь.
Все будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед — сохранности от бед.
Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне — тебя, тебе — меня не слышно.

РОЗА

Александру Кушнеру

Вид рынка в Гагре душу веселит.
На злато дыни медный грош промотан.
Не есть ли я ленивый властелин,
чей взор пресыщен пурпуром и медом?

Вздыхает нега, бодрствует расчет,
лоснится благоденствие Кавказа.
Торговли огнедышащий зрачок
разнежен сном и узок от коварства.

Где, визирь мой, цветочные ряды?
С пристрастьем станем выбирать наложниц.
Хвалю твои беспечные труды,
владелец сада и садовых ножниц.

Знай, я полушки ломаной не дам
за бледность черт, чья быстротечна участь.
Я красоту люблю, как всякий дар,
за прочный позвоночник, за живучесть.

Я алчно озираюсь. Наконец,
как старый царь — невольницу младую,
влеку я розу в бедный мой дворец
и на свои седины негодую.

Эй вы, плавней, кто тянет паланкин!
Моих два локтя понукаю, то есть —
хранить ее, пока меж половин
всего, что в нем, расплющил нас автобус.

В беспамятстве, в росе еще живой,
спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.
Как соразмерно мощный стебель твой
прелестно малой головой увенчан.

Уф, отдышусь. Вот дом, в чей бок тавро
впечатано: «Дом творчества». Как просто!
Есть дом у нас, чтоб сотворить твое
бессмертие на белом свете, роза!

Пока юлит перед тобой глагол,
твой гений сразу обретает навык
дышать водой, опередив глоток
сестер твоих — прислужниц и чернавок.

Прости, дитя, что из родимых кущ
изъяв тебя, томлю тебя беседой.
Лишь для того мой разум всемогущ,
чтоб стала ты пусть мертвой, но воспетой.

Что розе этот вздор? Уныл и дряхл
хваленый ум, и всяк эпитет скуден.
Он бесполезней и скучнее драхм
ее красе, что занята искусством

растеньем быть, а не предметом для
хвалы моей. О, как светает грозно.
Я говорю при первом свете дня:
— Как ты прекрасна, розовая роза!

Та роза ныне — слабый призрак, вздох.
Но у нее заступник есть в природе.
Как беспощадно он взимает долг
с немой души, робеющей при розе.

ПАМЯТИ ГЕНРИХА НЕЙГАУЗА

Что — музыка? Зачем? Я — не искатель муки.
Я все нашла уже и все превозмогла.
Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
о мука мук моих, о музыка моя.

Излишек музык — две. Мне — и одной довольно,
той, для какой пришла, была и умерла.
Но все это — одно. Как много и как больно.
Чужая — и не тронь, о музыка моя.

Что нужно остриям органа? При органе
я знала, что распят, кто, говорят, распят.
О музыка, вся жизнь — с тобою пререканье,
и в этом смысл двойной моих услад-расплат.

Единожды жила — и дважды быть убитой?
Мне, впрочем, — впору. Жизнь так сладостно мала.
Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
Ты — лишь затем моя, о музыка моя.

Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот,
он проводил ко мне все то, что ты рекла.
Как папоротник тих, как проповедник кроток
и — краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо и бархат цвета... цвета? —
зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:
как тина или мох. И лишь при том здесь это,
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —

столь тихие вблизи громокипящей распри.
Не мне ее прощать: мне та земля мила,
где Гёте, Рейн, и он, и музыка — прекрасны,
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
Еще там были: шум, бокалы, торжество,
тот ученик его прельстительно великий,
и я — какой ни есть, но ученик его.

1977

ПЕРЕДЕЛКИНО ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Станиславу Нейгаузу

Темнела долгая загадка
и вот сейчас блеснет ответ.
Смотрю на купол в час заката,
и в небо ясный вход отверст.

Бессмертная душа надменна,
а то, что временный оплот
души, желает жить немедля,
но это место узнает.

Какая связь меж ним и телом,
не догадаться мудрено.
Вдали, внизу, за полем белым
о том же говорит окно.

Все праведней, все беззащитней
жизнь света в доблестном окне.
То — мне привет сквозь мглу,
сквозь иней,
укор и предсказанье мне.

Просительнее слез и слова,
слышнее изъявления уст
свет из окна. Но я — готова,
и я пред ним не провинюсь.

Ни я не замараюсь славой,
ни поле, где течет ручей,
не вздумает очнуться свалкой
ненужных и чужих вещей.

1977

ПИСЬМО БУЛАТУ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Что в Калифорнии, Булат,—
не знаю. Знаю, что прелестный,
просторный край. В природе летней
похолодает, говорят.

Пока — не холодно. Блестит
простор воды, идущий зною.
Над розой, что отрадно взору,
колибри пристально висит.

Ну, вот и все. Пригож и юн
народ. Июль вступает в розы.

А я же «Вестником Европы»
свой вялый развлекаю ум.

Все знаю я про пятый год
столетия прошлого: раздоры,
открытья, пререканья, вздоры
и что потом произойдет.

Откуда «Вестник»? Дин, мой друг,
славист, профессор, знаний светоч,
вполне и трогательно сведущ
в словесности, чей вкус и звук
нигде тебя, нигде меня
не отпускает из полона.

Крепчает дух Наполеона.

Графиня Некто умерла,
до крайних лет судьбы дойдя.

Все пишут: кто стихи, кто прозу.

А тот, кто нам мороз и розу
преподнесет,— еще дитя
безвестное, но не вполне:

он — знаменитого поэта
племянник, стало быть, родне
известен. Дальше — буря, мгла.

Булат, ты не горюй, все вроде
о'кей. Но «Вестником Европы»
зачитываться я могла,

могла бы там, где ты и я
брели вдоль пруда Химок возле.
Колибри зорко видит в розе
насущенный смысл житья-бытья.
Меж тем Тому — уже шесть лет!
Еще что в мире так же дивно?
Все это удивляет Дина.
Засим прощай, Булат, мой свет.

1977

* * *

(Шуточное послание к другу)

Покуда жилкой голубою
безумья орошен висок,
Булат, возьми меня с собою,
люблю твой легонький возок.

Ямщик! Я, что ли,— завсегдатай
саней? Скорей! Пора домой,
в былое. О Булат, солдатик,
родимый, неубитый мой.

А остальное — обойдется,
приложится, как ты сказал.
Вот зал, и вальс из окон льется.
Вот бал, а нас никто не звал.

А все ж — войдем. Там, у колонны...
так смугл и бледен... Сей любви
не перенести! То — он. Да он ли?
Не надо знать, и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи
в красу чужбин, в чужие дни?
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!
Как мною ты любим, мой брат!
Какая долгая дорога
из Петербурга в Ленинград.

1977

ЛЕНИНГРАД

Опять дана глазам награда Ленинграда...
Когда сверкает шпиль, он причиняет боль.
Вы неразлучны с ним, вы — острое и рана,
и здесь всегда твоя второстепенна роль.

Зрачок пронзен насквозь, но зрение на убыль
покуда не идет, и по причине той,
что для него всегда целебен круглый купол,
спасительно простой и скромно золотой.

Невинный Летний сад обрек себя на иней,
но сей изыск списать не предстоит перу.
Осталось, к небесам закинув лоб наивный,
решать: зачем душа потворствует Петру?

Не всадник и не конь, удержанный на месте
всевластною рукой, не слава и не смерть —
их общий стройный жест, изваянный из меди,
влияет на тебя, плоть обращая в медь.

Всяк царь мне дик и чужд. Знать не хочу! И все же
мне не подсудна власть — уставить в землю перст,
и причинить земле колонн и шпилей всходы,
и предрешить того, кто должен их воспеть.

Из Африки изъять и приручить арапа,
привить ожог чужбин Опочке и Твери —
смысл до поры сокрыт, в уме — темно и рано,
но зреет близкий ямб в неграмотной крови...

Так некто размышлял... Однако в Ленинграде
какой февраль стоит, как весело смотреть:
все правильно окрест, как в пушкинской тетради,
раз навсегда, впопад и только так, как есть!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Все б глаз не отрывать от города Петрова,
гармонию читать во всех его чертах
и думать: вот гранит, а дышит, как природа...
Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.

Былая жизнь моя — предгорье сих ступеней.
Как улица стара, где жили повара.
Развязно юн пред ней пригожий дом столетний.
Светает, а луна трудов не прервала.

Как велика луна вблизи окна. Мы сами
затеяли жильё вблизи небесных недр.
Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:
ведь выше — только глушь, где нас с тобою нет

Плеск вечности в ночи подтачивает стены
и зарится на миг, где рядом ты и я.
Какая даль видна! И коль взглянуть острее,
возможно различить границу бытия.

Вселенная в окне — букварь для грамотея,
читаю по складам и не хочу прочесть.
Объятую зарей, дымами и метелью,
как я люблю Москву, куда время есть.

И давешняя мысль — не больше безрассудства.
Светает на глазах, все шире, все быстрее.
Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,
простер Тверской бульвар цепочку фонарей.

1978

* * *

Не добела раскалена,
и все-таки уже белеет
ночь над Невоею.
Ум болеет
тоской и негой молодой.
Когда о купол золотой
луч разобьется предрассветный
и лето входит в Летний сад,
каких наград, каких услад
иных
просить у жизни этой?

1978

* * *

Мне Тифлис горбатый снится...

Осип Мандельштам

То снился он тебе, а ныне ты — ему.
И жизнь твоя теперь — Тифлиса сновиденье.
Поскольку город сей непостижим уму,
он нам при жизни дан в посмертные владенья.

К нам родина щедра, чтоб голос отдышал,
когда поет о ней. Перед дорогой дальней
нам все же дан привал, когда войдем в духан,
где чем душа светлей, тем пение печальней.

Клянусь тебе своей склоненной головой
и воздухом, что весь — душа Галактиона,
что город над Курой — всё милосердней твой,
ты в нем не меньше есть, чем был во время оно.

Чем наш декабрь белей, когда роняет снег,
тем там платан красней, когда роняет листья.
Пусть краткому «теперь» был тесен белый свет,
пространному «потом» — достаточно Тифлиса.

1978

ГАГРА: КАФЕ «РИЦА»

Как будто сон тягучий и огромный,
клубится день огромный и тягучий.
Пугаясь роста и красоты магнолий,
в нем кто-то плачет над кофейной гущей.

Он ослабел — не отогнать осу вот,
над вещей гущей нависает если.
Он то ли болен, то ли так тоскует,
что терпит боль, не меньшую болезни.

Нисходит сумрак. Созревают громы.
Страшусь узнать: что эта гуща знает?
О, горе мне, магнолии и горы.
О море, впрямь ли смысл твой лучезарен?

Я — мертвый гость беспечности курортной:
пусть пьет вино, лоснится и хохочет.
Где жизнь моя? Вот блеск ее короткий
за мыс заходит, навсегда заходит.

Как тяжек день — но он не повторится.
Брег каменный, мы вместе каменеем.
На набережной в заведение «Рица»
я юношам кажусь Хемингуэем.

Идут ловцы стаканов и тарелок.
Печаль моя относится не к ним ли?
Неужто всё — для этих, загорелых
и ни одной не прочитавших книги?

Я упасу их от моей печали,
от грамоты моей высокопарной.
Пускай всегда толпятся на причале,
вблизи прибоя — с ленью и опаской.

О Море-Небо! Ниспошли им легкость.
Дай мне беды, а им — добра и чуда.
Так расточает жизни мимолетность
тот человек, который — я покуда.

1979

* * *

Смеркается в пятом часу, а к пяти
уж смерклось. Что сладостней поздних
шатаний, стояний, скитаний в пути,
не так ли, мой пес и мой посох?

Трава и сугробы, октябрь, но февраль.
Тьму выбрав, как свет и идею,
не хочет свободный и дикий фонарь
служить Эдисонову делу.

Я предана этим бессветным местам,
безлюдью их и безлунью,
науськавшим гнаться за мной по пятам
поземку, как свору борзую.

Полога дорога, но есть перевал
меж скромным подъемом и спуском.
Отсюда я вижу, как волен и ал
огонь в обиталище узком.

Терзаясь значеньем окна и огня,
всяк путник умерит здесь поступь,
здесь всадник ночной придержал бы коня,
здесь медлят мой пес и мой посох.

Ответствуйте, верные поводыри:
за склоном и за поворотом
что там за сияющий замок вдали,
и если не замок, то что там?

Зачем этот пламень так смел и велик?
Чьи падают слезы и пряди?
Какой же избранник ее и должник
так надобен этой лампаде?

Кто ей из веков отвечает кивком?
Чьим латам, сединам и ранам
не жаль и не мало пропасть мотыльком
в пленительном пекле багряном?

Ведуний там иль чернокнижников пост?
Иль пьется богам и богиням?
Ужайший мой круг, мой посох и пес,
рванемся туда и погибнем.

Я вижу, вам путь этот странный знаком,
во мгле что горит неусыпно?
— То лампа твоя под твоим же платком,
под красным,— ответила свита.

Там, значит, никто не колдует, не пьет?
Но вот что страшней и смешнее:
отчасти мы все, мой посох и пес,
той лампы моей измышление.

И это в селенье, где нет поселян,—
спасенье, мой пес и мой посох.
А кто нам спасительный свет послал —
не важно. Спасибо, что послан.

* * *

Мы начали вместе: рабочие, я и зима.
Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом
соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма
и Павел-меньшой, окруженные кордебалетом.

Окно, под каким я сижу для затеи моей,
выходит в их шум, порицающий силу раствора.
Прошло без помех увядание роц и полей,
листа поредела, и стало светло и просторно.

Зима поспешала. Холодный сентябрь иссякал.
Затея томила и не давалась мне что-то.
Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан,
ко мне отражали за прибылью Павла-меньшого.

Спрошу: — Как дела? — Засмеется: — Как сажа бела.
То нет кирпича, то застряла машина с цементом.
— Вот-вот,— говорю,— и мои таковы же дела.
Утешимся, Павел, печальным напитком целебным.

Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг,
верней, только он и остался в уме и природе.
Пока у зимы не валилась работа из рук,
Матвей и Кузьма на моем появлялись пороге.

— Ну что? — говорят. Говорю: — Для затеи пустой,
наверно, живу.— Ничего,— говорят,— не печалься.
Ты видишь в окно: и у нас то аврал, то простой.
Тебе веселей: без зарплаты, а все ж —
без начальства...

Нежданно-негаданно — невидаль: зной в октябре.
Кирпич и цемент обрели наконец-то единство.
Все травы и твари разнежались в чудном тепле,
в саду толчая: кто расцвел, кто воскрес,
кто родился.

У друга какого, у юга неужто взаймы
наш север выпрашивал блики, и блески, и тени?
Меня ободряла промашка неловкой зимы,
не больше меня преуспевшей в заветной затее.

Сияет и греет, но рано сгущается темь,
и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке.
Как, Пушкин, мне быть в октябрю девятнадцатый
день?

Смеркается — к смерти. А где же друзья,
где восторги?

И век мой жесточе, и дар мой совсем никакой.
Все кофе варю и сажу, пригорюнясь, на кухне.
Вдруг — что-то живое ползет меж щекой и рукой.
Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.

Зима отслужила безумье каникул своих
и за ночь воздвигла такие хоромы, что диво.
Уж некуда выше, а снег все валил и валил.
Как строят — не видно, окно — непроглядная льдина.

Мы начали вместе. Зима завершила труды.
Стекло поскребла: ну и ну, с новосельем соседа!
Прилажена крыша, и дым произрос из трубы.
А я все сажу, все смотрю на падение снега.

Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
— Прощай,— говорят.— Мы-то знаем тебя
не по книжкам.

А все же для смеха стишок и про нас напиши.
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком...

Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
еще и за то, что не ты моих книжек читатель.

Уходят. Сказали: — К Ноябрьским уж точно сдадим.
Соседу втолкуй: все же праздник, пусть будет
попроще...—

Ноябрь на дворе. И горит мой огонь-нелюдим.
Без шума соседнего в комнате тихо, как в роще.

А что же затея? И в чем ее тайная связь
с окном, возлюбившим строительства скромную новость?

Не знаю.

Как Пушкину нынче луна удалась!

На славу мутна и огромна, к морозу, должно быть!

1979

САД

Я вышла в сад, но глушь и роскошь
живут не здесь, а в слове «сад».
Оно красою роз возросших
питает слух, и нюх, и взгляд.

Просторней слово, чем окрестность:
в нем хорошо и вольно, в нем
сиротство саженцев окрепших
усыновляет чернозем.

Рассада неизвестных новшеств,
о слово «сад» — как садовод,
под блеск и лязг садовых ножниц
ты длишь и множишь свой приплод.

Вместилась в твой объем свободный
усадыба и судьба семьи,
которой нет, и той садовой
потерто-белый цвет скамьи.

Ты плодороднее, чем почва,
ты кормишь корни чуждых крон,
ты — дуб, дупло, Дубровский, почта
сердец и слов: любовь и кровь.

Твоя тенистая чащоба
всегда темна, но пред жарой
зачем потупился смущенно
влюбленный зонтик кружевной?

Не я ль, искатель ручки вялой,
колени гравием красню?
Садовник нищий и развязный,
чего ищу, к чему клоню?

И если вышла, то куда я
все ж вышла? Май, а грязь прочна.
Я вышла в пустошь захуданья
и в ней прочла, что жизнь прошла.

Прошла! Куда она спешила?
Лишь губ пригубила немых
сухую муку, сообщила,
что всё — навеки, я — на миг.

На миг, где ни себя, ни сада
я не успела разглядеть.
«Я вышла в сад», — я написала.
Я написала? Значит, есть

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,
что выход в сад — не ход, не шаг.
Я никуда не выходила. Я просто
написала так:
«Я вышла в сад»...

1980

* * *

В. Высоцкому

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.
Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной.
Так — быть? Или — как? Что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья.
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
кто подданных душу возвысит до слез, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь
не сорищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.
Певца обожая, расплачемся. Доблестна тризна.
Ведь быть иль не быть — вот вопрос. Как мне быть?
Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим — всё дальше, всё выше и чище.
Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.
Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?

1980

ЛАДЫЖИНО

Я этих мест не видела давно.
Душа во сне глядит в чужие края
на тех, моих, кого люблю, кого
у этих мест и у меня — украли.

Душе во сне в чужую даль глядеть
досуга нет — но и вчера глядела.
Я думала, когда проснулась здесь:
душе не внове будет, взмыв из тела.

Так вот на что я променяла вас,
друзья души, обобранной разбоем.
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
Вы — за Окой, вон там, за темным бором.

И ваши слезы видели в ночи
меня в Тарусе, что одно и то же.
Нашли меня и долго прочь не шли.
Чем сон нежней, тем пробужденье строже.

Вот новый день, который вам пошлю —
оповестить о сердца разрыванье,
когда иду по снегу и по льду
сквозь бор и бездну между мной и вами.

Так я вхожу в Ладыжино. Просты
черты красы и бедствия родного.
О тетя Маня, смилуйся, прости
меня за всё, за слово и не-слово.

Прогорк твой лик, твой малый дом убог.
Моих друзей и у тебя отняли.
Все слышу: «Не печалься, голубок».
Да мочи в сердце меньше, чем печали.

Окно во снег, икона, стол, скамья.
Ад глаз моих за рукавом я прячу.
«Ах, андел мой, желанная моя,
не плачь, не сетуй».
Сетую и плачу.

1981

РАДОСТЬ В ТАРУСЕ

Я позабыла, что все это есть.
Что с небосводом? Зачем он зарделся?
Как я могла позабыть среди злодейств
то, что еще упаслось от злодейства?

Но я не верила, что упаслось
хоть что-нибудь. Всё, я думала,— втуне.
Много ли всех проливателей слез,
всех, неповинных в корысти и в дури?

Время смертей и смертельных разлук
хоть не прошло, а уму повредило.
Я позабыла, что сосны растут.
Вид позабыла всего, что родимо.

Горестен вид этих маленьких сёл,
рощ изведенных, церковей убиенных.
И, для науки изъятых из школ,
множества бродят подростков военных.

Вспомнила: это восход, и встаю,
алчно сочувствуя прибыли света.
Первыми сосны воспримут зарю,
далее всем нам обещано это.

Трем обольщеньям за каждым окном
радуюсь я, словно радостный кто-то.
Только мгновенье меж мной и Окой,
валенки и соучастье откоса.

Маша приходит: «Как, андел, спалось?»
Ангел мой Маша, так крепко, так сладко!
«Кутайся, андел мой, нынче мороз».
Ангел мой Маша, как славно, как ладно!

«В Паршино, любушка, волк забегал,
то-то корова стенала, томилась».
Любушка Маша, зачем он пугал
Паршина милого сирость и смиренность?

Вот выхожу, на конюшню бегу.
Я ль незнакомец, что болен и мрачен?
Конь, что белеет на белом снегу,
добр и сластена, зовут его: Мальчик.

Мальчик, вот сахар, но как ты любим!
Глаз твой, отверсто-дрожащий и трудный,
я бы могла перепутать с моим,
если б не глаз — знаменитый и чудный.

В конюхах — тот, чьей безмолвной судьбой
держится общий невыцветший гений.
Как я, главенствуя в роли второй,
главных забыла героев трагедий?

То есть я помнила, помня: нас нет,
если истока нам нет и прироста.
Заново знаю: лицо — это свет,
способ души изъяслять благородство.

Семьдесят два ему года. Вестей
добрых он мало услышал на свете.
А поглядит на коня, на детей —
я погляжу, словно кони и дети.

Где мы берем добродетель и статью?
Нам это — не по судьбе, не по чину.
Если не сгнуть совсем, то — устать
всё не сберемся, хоть имеем причину.

Март между тем припекает мой лоб.
В марте ли лбу предаваться заботе?
«Что же, поедешь со мною, милоч?»
Я-то поеду! А вы-то возьмете?

Вот и поехали. Дня и коня,
дня и души белизна и нарядность.
Федор Данилович! Радость моя!
Лишь засмеется: «Ну что, моя радость?»

Слева и справа: краса и краса.
Дым-сирота над деревнею вьется.
Склад неимущества — храм без креста.
Знаю я, знаю, как это зовется.

Ночью, при сильном стеченье светил,
долго смотрю на леса, на равнину.
Господи! Снова меня ты простил.
Стало быть — можно? Я — лампу придвину.

1981

ИГРЫ И ШАЛОСТИ

Мне кажется, со мной играет кто-то.
Мне кажется, я догадалась — кто,
когда опять усмешливо и тонко
мороз и солнце глянули в окно.

Что мы добавим к солнцу и морозу?
Не то, не то! Не блеск, не лед над ним.
Я жду! Отдай обещанную розу!
И роза дня летит к ногам моим.

Во всем ловлю таинственные знаки,
то след примечу, то заслышу речь.
А вот и лошадь запрягают в санки.
Коль ты велел — как можно не запречь?

Верней — коня. Он масти дня и снега.
Не все ль равно! Ты знаешь сам когда:
в чудесный день! — для усиления бега
ту, что впрягли, ты обратил в коня.

Влетаем в синеву и полыханье.
Перед лицом — мах мощной седины.
Но где же ты, что вот — твое дыханье?
В какой союз мы тайный сведены?

Как ты учил — так и темнеет зелень.
Как ты жалел — так и поют в избе.
Весь этот день, твоим родным изделием,
хоть отдан мне, — принадлежит тебе.

А ночью — под угрюмо-голубою,
под собственной твоей полулуной —
как я глупа, что плачу над тобою,
настолько сущим, чтоб шалить со мной.

НЕПОСЛУШАНИЕ ВЕЩЕЙ

Что говорить про вольный дух свечей —
все подлежит их ворожке и сглазу.
Иль неодушевленных нет вещей,
иль мне они не встретились ни разу.

У тех, что мне известны,— норов крут.
Не перечсть их вспылчивых поступков.
То пропадут, то невпопад придут,
свой тайный глаз сокрыв, но и потупив.

Сейчас вот потешались надо мной:
Вещь — шелкала не для, а вместо света,
и заточенный в трубы водяной
не дал воды и задрожал от смеха.

Всю эту ночь, от хваткости к стихам,
включатель тьмы пощелкивал над слухом,
просил воды назойливый стакан
и жадный кран, как щедрый филин, ухал.

Удел вещей: спешить куда-то вдаль.
Вчера, под вечер, шаль мне подарили —
под утро зябнет и скучает шаль,
ей невтерпеж обнять плеча другие.

Я понукаю их свободный бег —
пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,
как этот вольный быстротечный снег,
со всех холмов сзываемый Окою.

Я не умела вещи приручать.
Их своеволие оставляю людям.
Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.
Мы никакую вещь не обессудим.

Сейчас, сей миг, от сей строки — рука
отпрянула, я ей перекрестилась:
для шумного, из недр души, зевка
дверь шкафа распахнулась и закрылась.

1981

КОФЕЙНЫЙ ЧЕРТИК

Опять четвертый час. Да что это, ей-богу!
Ну, что, четвертый час, о чем поговорим?
Во времени чужом люблю свою эпоху:
тебя, мой час, тебя, веселый кофеин.

Сообщник-гуща, вновь твой черный чертик ожил.
Ему пора играть, но мне-то — спать пора.
Но угодим — ему. Ум на него помножим —
и то, что обречем, отпустим до утра.

Гадаешь ты другим, со мной — озорничаешь.
Попав вовнутрь судьбы, зачем извне гадать?
А если я спрошу, ты ясно означаешь
разлуку, но любовь и ночи благодать.

Но то, что обрели, — вот парочка, однако.
Их общий бодрый пульс резвится при луне.
Стих вдумался в окно, в глушь снега и оврага,
и, видимо, забыл про чертика в уме.

Он далеко летал, вернулся, но не вырос.
Пусть думает свое, ему всегда видней.
Ведь догадался он, как выкроить и выкрасть
Тарусу, ночь, меня из бесполезных дней.

Эй, чертик! Ты шалишь во мне, а не в таверне.
Дай помолчать стиху вблизи его луны.
Покуда он вершит свое самотворенье,
люблю на труд его смотреть со стороны.

Меня он никогда не утруждал нимало.
Он сочинит свое — я напишу пером.
Забыла — дальше как? Как дальше, тетя Маня?
Ах, да, там дровосек приходит с топором.

Пока же стих глядит, что делает природа.
Коль тайну сохранит и не предаст словам —
пускай! Я обойдусь добычею восхода.
Вы спали — я его сопровождала к вам.

Всегда казалось мне, что в достижение рани
есть лепта и моя, есть тайный подвиг мой.
Я не ложилась спать, а на моей тетради
усталый чертик спит, поникнув головой.

Пойду, спущусь к Оке для первого поклона.
Любовь души моей, вдруг твой слушник — здесь
и смеет говорить: нет воли, нет покоя,
а счастье — точно есть. Это оно и есть.

1981

ЛУНА ДО УТРА

Что опыт? Вздор! Нет опыта любви.
Любовь и есть отсутствие былого.
О, как неопытно я жду луны
на склоне дня весны двадцать второго.

Уже темно! И там лишь не темно,
где нежно меркнет розовая зелень.
Ее скончанье и мое окно —
я так стою — соотношу я зреньем.

Соблазн не в том, что схожи цвет и свет —
в окне скучает роза абажура,—
меж ними — муки связь: о лампа, нет,
свет изведу, а цвет не опишу я.

Но прежде надо перенести зарю —
весть тихую о том, что вечность — рядом.
Зари не видя, на печаль мою
окно мое глядит печальным взглядом.

Что, ситцевая роза, заждалась?
Ко мне твоя пылает сердцевина
такую страстью, что — звезда зажглась,
но в схватке вас двоих — не очевидна.

Зажглась предтеча десяти часов.
Страшусь, что помрачневшими глазами
я вытяну луну из-за лесов
иль навсегда оставлю за лесами.

Как поведенье нервов назову?
Они зубами рвут любой эпитет,
до злата прожигают синеву
и причиняют небесам Юпитер.

Здесь, где живу, есть — не скажу: балкон —
гроздь ветхости, нарост распада или
древесное подобье облаков,
образование трогательной гнили.

На все на это — выхожу. Вон там,
в той стороне, опасность золотая.
Прочь от нее! За мною по пятам
вихрь следует, покров стола взметая.

Переполох испуганных листов
спроста ловлю, словно метель иль стаю.
Верх пекла огнедышит из лесов —
еще сильней и выпуклей, чем знаю.

Вздор — хлад, и желтизна, и белизна.
Что опыт, если все не предвестимо.
Как оборотень, движется луна,
вобрав необратимое светило.

(И, кстати, там, за брезжущей чертой
и лунной ночи, и стихотворенья,
истекшее вот этой краснотой,
я встречу солнце, скрытое от зренья.

Всем полнокровьем выкормив луну,
оно весь день пробудет в блеклых нетях.
Я видела! Я долг ему верну
стихами, что наступят после этих.)

Подъем луны — непросто претерпеть.
Уж мочи нет — все длится проволочка.
Тяжелая, еще осталась треть
иным очам и для меня заочна.

Вот — вся округлость видима. Луну:
взойдет иль нет — уже никто не спросит.
Явилась и зависла. Я люблю
ее привычку медлить между сосен.

Затем, что край обобран чернотой, —
вдруг как-то человечно косовата.
Но не проста! Не поправа пятой
(я знаю: он невинен) космонавта.

Вдруг улыбнись и заново пойму,
чей в ней так ясен и сохранен гений.
Она всегда принадлежит ему —
имуществом двух маленьких имений.

Немедленно луна меняет цвет
на мутно-серебристый и особый.
Иль просто ей, чтоб продвигаться вверх,
удобно стать бледней и невесомей.

Мне все труднее подступать к окну.
Чтоб за луной угнался провожатый:
влюбленный глаз — я голову клоню
еще левей. А час который? Пятый.

На этом точка падает в тетрадь.
Сплошь темноты — все зримее и реже.
И снова нужно утро озирать —
нежнее и неграмотней, чем прежде.

1981

УТРО ПОСЛЕ ЛУНЫ

Что там с луною — видит лишь стена.
Окно уже увлечено Окою.
Моя луна — иссякла навсегда.
Вы осиянны вечной, но другою.

Подслеповатым пристальным белком
белесый день глядит неблагосклонно.
Я выхожу на призрачный балкон —
он свеж, как описание балкона.

Как я люблю воспетый мной предмет
вновь повстречать, но в роли очевидца.
Он как бы знает, что он дважды есть,
и ластится, клубится и двоится.

Нет ни луны и никаких улик,
что впрямь была. Забывчиво пространство.
Учись, учись, тщеславный ученик,
и, будучи, не помышляй остаться.

Перед лицом — тумана толщина.
У слуха — лишь добычи и удачи:
нежнейших пересвистов толчея,
любви великой маленькие плачи.

Священный шум несуетной возни:
томление свадеб, добыванье пищи.
О милый мир, отверстый для весны,
как уберечь твое сердечко птичье?

Кому дано собою заслонить
твой детский облик в даях законных?
Надежда — что прищуриться ленив
твой смертный час затеявший охотник.

Вдруг раздается кратковзвучный гром,
мгновенно-меткий выстрел многоточья;
то дятел занят праведным трудом —
спросонок взмыла паника сорочья.

Он потрясает обомлевший ствол,
чтоб помутился разум насекомых.
Я возвращаюсь и сажусь за стол —
счастливец из существ, им не искомым.

Что я имею? Бывшую луну,
туман и не-событие восхода.
Я обещала солнцу, что верну
долги луны. Что делать мне, природа?

Чем питаю многоцветье дня,
коль все цвета исчерпаны луною?
Достанет ли для этого меня
и права дальше оставаться мною?

Меж тем — живой и всемогущий блеск
восходит над бессонницей моею.
Который час? Уже не важно. Без
чего-то семь. Торжественно бледнею.

ВОСЛЕД 27-МУ ДНЮ ФЕВРАЛЯ

День пред весной, мне жаль моей зимы,
чей гений знал, где жизнь мою припрятать.
Не предрекай теплыни, не звени,
ты мне грустна сегодня, птичья радость.

Мне жаль снегов, мне жаль себя в снегах,
Оки во льду и полыньи отверстой,
и радости, что дело не в стихах,
а в нежности к пространству безответной.

Ах, нет, не так, не с тем же спорить мне,
кто звал и знал ответа благосклонность.
День-божество, повремени в окне,
что до меня — я от тебя не скроюсь.

В седьмом часу не остается дня.
Красно-синё окошко ледяное.
День-божество, вот я, войди в меня,
лишь я — твое прибежище ночное.

Воскресни же — ты воскрешен уже.
Велик и леп, восстань великолепным.
Я повторю и воздымлю в уме
твой первый свет в моем окошке левом.

Вновь грозно-нежен разворот небес
в знак бедствий всех и вместе благоденствий.
День хочет быть — день скоро будет — есть
солнце-морозный, все точь-в-точь: чудесный.

Грядущее грядет из близи. Что ж,
зато я знаю выраженье сосен,
когда восходит то, чего ты ждешь,
и сердце еле ожиданье сносит.

Всё распростерто перед ним, всё — ниц.
Ему не в труд, свет разметав по крышам,
пронзить цветка прозрачный организм,
который люди Ванькой-мокрым кличут.

Да, о растенье. Возлюбив его,
с утра смеюсь: кто, Ваня милый, вы-то?
Сердечком влажным это существо
в меня всмотрелось и ко мне привыкло.

Мы с ним вдвоем в обители моей
насквозь провидим ясную погоду.
День пред весной все шире, все вольней.
Внизу мне скажут: дело к ледоходу.

Лед, не ходи! Хоть и весна почти,
земли прочна и глубока остуда.
Мне жаль того, поверх воды, пути
в Поленово, наискосок отсюда.

Я выхожу. Морозно и тепло.
Мне говорят, что дело к ледоходу.
Грущу и рада: утром с крыш текло —
я от воды отламываю воду.

Иду в Пачёво, в деревушку. Во-он
она дымит: добра и пусторука.
К ней влажен глаз, и слух в нее влюблен.
Под горку, в горку, роща и — Таруса.

Я б шла туда, куда глаза вели,
когда б не ты, кого весна тревожит.
Все ты да ты, все шалости твои:
там, впереди, — художник и треножник.

Я не хочу свиданье их спугнуть.
И кто я им, воссоздавая втуне
их поз взаимность, синий санный путь,
себя — пятно, мелькнувшее в этюде?

Им оставляю блеск и синеву.
Цвет никакой не скуден и не тесен.
А я? Каким я день мой назову?
Мне сказано уже, что он — чудесен.

Грядями леса спорят об Оке
ответный берег с этим вот, пологим.
Те двое грациозных вдалеке
все заняты круженьем многоногим.

День пред весной, снега мой след сотрут.
Ты дважды жил и не узнал об этом.
В окне моем Юпитер и Сатурн
сейчас в соседях. Говорят, что — к бедам.

1981

ДЕНЬ 12 МАРТА

Дни марта меж собою не в родстве.
Двенадцатый — в нем гость или подкидыш.
Черты чужие есть в его красе,
и март: «Эй, март!» — сегодня не окликнешь.

День — в зиму вышел нравом и лицом:
когда с холмов ее снега поплыли,
она его кукушкиным яйцом
снесла под перья матери-теплыни.

Я нынче глаз не отпускала спать —
и как же я умна, что не заснула!
Я видела, как воля Дня и стать
пришли сюда, хоть родом не отсюда.

Дню доставало прирожденных сил
и для восхода, и для снегопада.
И слышалось: «О нареченный сын,
мне боязно, не восходи, не надо».

Ему, когда он челядь набирал,
все, что послушно, явно было скушно.
Зачем поземка, если есть буран?
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.

Я, как известно, не ложилась спать.
Вернее, это Дню и мне известно.
Дрожать и зубом на зуб не попасть
мне как-то стало вдруг не интересно.

Я было вышла, но пошла назад.
Как не пойти? Описанный в тетрадке,
Для нынешнего пред... — скажу: пред-брат —
оставил мне наследье лихорадки.

Минувший день, прости, я солгала!
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,

и провожала в даль твои крыла
на зябких крыльях зыбкого недуга.

Хворь — боязлива. Ей неведому
теперь окна красу и зазыванье —
в блеск бытия вперяет слепоту,
со страхом слыша бури завыванье.

Устав смотреть, как слишком сильный День
гнет сосны, гладит против шерсти ели,
я без присмотра бросила метель
и потащилась под присмотр постели.

Проснулась. Вышла. Было семь часов.
В закате что-то слышимое было,
но тихое, как пенье голосов:
«Прощай, прощай, ты мной была любима».

О, как сквозь чернь березовых ветвей
и сквозь решетку... там была решетка —
не для красы, а для других затей,
в честь нищего какого-то расчета...

сквозь это все сияющая весть
о чем-то высшем — горем мне казалась.
Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет
чуть-чуть был розовей, чем несказанность.

Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.

О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
все — в меру, без изъяна, без излишка.

Скончаньем Дня любитесь слеза.
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
Я ничего не знаю и слепа.
А божий день — всезнающ и всевидящ.

ВОСЛЕД 27-МУ ДНЮ МАРТА

У пред-весны с весною столько распрей:
дождь нынче шел и снегу досадил.
Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,
объятьям — с марта днем двадцать седьмым.

Отпразднуем, погода и погода,
наш тайный праздник, круглое число.
Замкнулся круг игры и хоровода:
дождливо-снежно, холодно-тепло.

Внутри, не смея ничего нарушить,
кружусь с прозрачным циркулем в руке
и белую пространную окружность
стесняю черным лесом вдалеке.

Двадцать седьмой, февральский, несравненный,
посол души в заоблачных краях,
герой стихов и сирота вселенной,
вернись ко мне на ангельских крылах.

Благодарю тебя за все поблажки.
Просила я: не отнимай зимы! —
теплыни и сиянья неполадки
ты взял с собою и убрал с земли.

И все, что дале делала природа,
вступив в открытый заговор со мной,—
не пропустив ни одного восхода,
воспела я под разную луной.

Твой нынешний ровесник и соперник
был мглист и долог, словно времена,
не современен марту и сиренев,
в куртины мрака спрятан от меня.

Я шла за ним! Но — чем быстрее аллея
петляла в гору, пятась от Оки,
тем боязливей кружево белело,
тем дальше убегали башмачки.

День уходил, не оставляя знака,—
то, может быть, в слезах и впопыхах,
Ладыжина прекрасная хозяйка
свой навещала разоренный парк.

Закат исполнен женственной печали.
День медленно скрывается во мгле —
пять лепестков забытой им перчатки
сиренью увядают на столе.

Опять идет четвертый час другого
числа, а я — не вышла из вчера.
За днями еженощная догонка:
стихи — тесна всех дней величина.

Сова? Нет! Это вышла из оврага
большая сырость и вошла в окно,
согрелась — и отправился обратно
невнятно-белый неизвестно кто.

Два дня моих, два избранных любимца,
останьтесь! Нам — расстаться не дано.
Пусть наша сумма бредит и клубится:
ночь, солнце, дождь и снег — нам все равно.

Трепещет соглядатай-недознайка!
Здесь странная компания сидит:
Ладыжина прекрасная хозяйка,
я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.

Как много нас! — а нам еще не вдосталь.
Новь жалует в странноприимный дом.
И то, во что мне утро обойдется,—
я претерплю. И опишу — потом.

РЕВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Объятье — вот занятие и досуг.
В семь дней иссякла маленькая вечность.
Изгиб дороги — и разъятье рук.
Какая глушь вокруг, какая млечность.

Здесь поворот — но здесь не разглядеть
от Паршина к Тарусе поворота.
Стоит в глазах и простоит весь день
все-белизны сплошная поволока.

Даль — в белых нетях, близь — не глубока,
она — белка, а не зрачка виденье.
Что за Окою — тайна, и Ока —
лишь знание о ней иль заблужденье.

Вплотную к зренью поднесен простор,
нет, привнесен, нет, втиснут вглубь,
и там стеснен, как непомерный сон,
смелее яви преуспевший в цвете,
под веки,

Вход в этот цвет лишь ошупи отверстие.
Не рыщу я сокрытого порога.
Какого рода белое окрест,
если оно белее, чем природа?

В открытье — грех заглядывать уму,
пусть ум поможет продвигаться телу
и встречный стопор взору моему
зовет, как все его зовут: метелью.

Сужает круг все сущее кругом.
Белеют вместе цельность и подробность.
Во впадине под ангельским крылом
вот так бело и так темно, должно быть.

Там упасают выпуклость чела
от разноцветья и непостоянства.
У грешного чела и ремесла
нет сводника лютее, чем пространство.

Оно — влюбленный соглядатай мой.
Вот мучит белизною самодельной,
но и прощает этой белизной
вину моей отлучки семидневной.

Уж если ты себя творишь само,
скажи: в чем смысл? в чем тайное веленье?
Таруса где? где Паршино-село?
Но, скрытное, молчит стихотворенье.

1981

МИЛОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Я описала марта день девятый —
см. где-то здесь, где некому смотреть.
Вот перечень его примет невнятный:
застой снегов и снега круговерть.

В нем все отвесно и ничто не навзничь.
Восстал хребет последней пред-весны.
Тот цвет, что белым мною вкратце назван,—
сильней и безымянней белизны.

Неодолима вздыбленная плоскость.
Ямщик всевластью вьюги подлежит.
Но в этот раз ее провидит лошадь,
чей гений — прыток и домой бежит.

Конь, мной воспетый и меня везущий,
тягается с воспетыми не мной,
пока, родной мой, вечно-однозвучный,
не от наслышки слышу голос твой.

Все так и было в дне девятом марта.
Равна моим чернилам белизна:
в нее их тщаньем ни одна помарка
развязно не была привнесена.

Как школьник в труд радивого соседа
шлет глаз крадущий, я взяла себе
у дня — весь день, все поведенье снега
и песнь похмелья в Паршине-селе.

На измышленья разум сил не тратил:
вздымалось поле и метель мела.
Лишь ты придуман, призрачный читатель.
Но ты мне нужен, выдумка моя.

Сам посуди: про марта день девятый
еще моих ты не прочел стихов,

а я, под утро, из теплыни ватной
кошусь в окно: десятый день каков?

Его восход внушает беспокойство:
как бы меня во сне не провели
влиняья неба, шлющие с откоса
зеленый свет в зеницу полыньи.

Капель-крикунья, потакая марту,
навзрыд вещает. Ярко лжет окно,
что опыт белой росписи по мраку
им не изведен иль забыт давно.

На улицу! Но валенки не в зиму,
а в лужу вводят. Некому пенять.
На вешнюю нездешнюю резину
мой верный войлок надобно менять.

Опять иду. Я верю косогору.
Он знает все про то, что за Окой.
Пал занавес. И слепнущему взору
даль предстает младою и нагой.

Над всем, что было прочно и парчово,
хихикнул чей-то синий голосок.
Тарусы — сквозь прозрачное Пачёво —
вон крайний дом, не низок, не высок.

Я слышу смех пространства и кого-то,
кто снег убрал и посылает свет.
Как подступают к сердцу жизнь и воля,
когда смеется тот, кто милосерд.

Так думаю — в каком это? — в четвертом
часу. Часы и я удивлены.
Усилен воздух нежным и нетвердым
сияньем, равным четверти луны.

Еще пишу: отвьюжило, отмггилось,
Оке наскучил закадычный лед.
Но в это время чья-то власть и милость
«Спи!» говорит и мой целует лоб.

СТРОГОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Что марту дни его: девятый и десятый?
А мне их жаль терять и некогда терять.
Но кто это еще, и словно бы с досадой,
через плечо мое глядит в мою тетрадь?

Одиннадцатый, ты? Смещая очередность,
твой третий час уже я трачу на вчера.
До света досижу и дольше — до черемух,
чтоб наспех не сказать, как стала ночь черна.

А где твоя луна? Ведь только что сияла.
Сияет — но моя, возвращенная в стихах.
Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла,
ты льдины в память льдин возводишь впопыхах.

Я пререкалась с днем как со знакомцем новым —
он знать меня не знал. Он укреплял Оку.
Он сызмальства зари был взрослым и суровым.
Все вензели зимы он возвратил окну.

Он строго проверял: морозно ли? бело ли? —
и на лету сгубил слабейшую из птах.
Он строил из воды умершее былое,
как будто воскрешал храм, обращенный в прах.

День стужу затевал и делал, что затеял:
вязал ручки узлом, доверье верб терзал.
То гением глядел, то взглядывал злодеем.
Что б ты о нем сказал, который все сказал?

Когда я, как всегда, отправилась в Пачёво,
меня, как свой пустык, он зашвырнул домой.
Я больше дням твоим, март, не веду подсчета.
Вот воспеватель твой: озябший и больной.

Меж дней твоих втеснюсь в укромный промежуток.
Как сумрачно глядит пространство-нелюдим!
Оно шалит само, но не приемлет шуток.
Несдобровать тому, кто был развязан с ним.

В ночи зывают к дню чернила и бумага.
Мне жаль, что преступил полночную черту
День — выродок из дней, хоть выходец из марта,
один, словно поэт — всегда чужой в роду.

Особенный закат он причинил природе:
уж не было зари, а все была видна.
Стихами о его трагическом уходе
я возвещу восход двенадцатого дня.

1981

СВЕТ И ТУМАН

Сколь ни живи, сколь ни учи наук —
жизнь знает, как прельстить и одурачить,
и робкий неуч, молвив: «Это — луг», —
остолбенеv глядит на одуванчик.

Нельзя привыкнуть и нельзя понять.
Жизнь — знает нас, а мы ее — не знаем.
Ее надзором, в занебесном «над»
исток берущим, всяк насквозь пронзаем.

Мгновенье ока — вдохновенье губ —
в сей миг проник наш недалекий гений,
но пред вторым — наш опыт кругло глуп:
сплошное время — разнобой мгновений.

Соседка капля — капле не близнец,
они похожи, словно я и кто-то.
Два раза одинаково блеснуть
не станет то, на что смотрю с откоса.

Всегда мне внове невидаль окна.
Его читатель вечный и работник,
робею знать, что значат письма, —
и двадцать раз уже я второгодник.

Вот — ныне, в марта день двадцать шестой,
я затемно взялась за это чтение.
На языке людей: туман густой.
Но гуще слова бездны изъявленья.

Какая гордость и какая власть —
себя столь скрытной охранить стеною.
И только галки промельк мимо глаз
не погнушался свидетелься со мною.

Цвет в просторечье назван голубым,
но остается анонимно-бóльшим.
На таком — малина и рубин —
мой нечванливый Ванька-мокрый ожил.

Как бы светает. Но рассвета рост
не снизошел со зрителем якшаться.
Есть в мартовской понурости берез
особое уныние пред-счастья.

Как все неизымаемо из мглы!
Грядущего — нет воли опасаться.
Вполоборота, ласково: «Не лги!» —
и вновь собою занято пространство.

1981

РАССВЕТ

Светает раньше, чем вчера светало.
Я в шесть часов проснулась, потому что
в окне — так близко, как во мне, —
вещая,
капель бубнила, предсказаньем муча.

Вот голосок, разорванный на всхлипы,
возрос в струю и в стройное стенанье.
Маслины цвета превратились в сливы:
вода синее на столе в стакане.

Рассвет все гуще набирает силу,
бросает в снег и в слух синичью стаю.
Зрачки, наверно, выкрашены синью,
но зеркало синё — я не узнаю.

Так совершенно наполнение зренья,
что не хочу зари, хоть долгожданна.
И — ненасытным баловнем мгновенья —
смотрю на синий томик Мандельштама.

1981

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАРУСУ

Пред Окой преклоненность земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растет желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.

К церкви бёховской ластится глаз.
Раз еще оглянусь — и довольно.
Я б сказала, что жизнь — удалась,
все сбылось и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепию цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нем Марины.

1981

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА И ПРИМИРЕНИЯ

Вниз, к Оке, упавая сквозь лес,
первоцвет упасая от следа.
Этот, в дрожь повергающий, блеск
многой воспет и добыт из-под снега.

— Я вернулась, Ока! — Ну, так что ж, —
отвечало Оки выраженье. —
Этот блеск, повергающий в дрожь,
не твое, а мое достижение.

— Но не я ли сподвижник твоих
льда недвижимого и ледохода?
— Ты не ведаешь, что говоришь.
Ты жива и еще не природа.

— Я всю зиму хранила тебя,
словно берег твой третий и тайный.
— Я не знаю тебя. Я текла
самовластно, прохожий случайный.

— Я лишь третьего дня над Курой
без твоих тосковала излучин.
— Кто теплыню отчизны второй
обольщен — пусть уходит, он скучен.

Зачерпнула воды, напилась
нелюбезной и скаредной влаги.
Разделяли Оки неприязнь
раболепные лес и овраги.

Чтоб простили меня — сколько лет
мне осталось? Кукушка умолкла.
О, как мало, овраги и лес!
Как печально, как ярко, как мокро!

Все, что я воспевала зимой,
лишь весну ныне любит, весну лишь.
Благоденствуй, воспетое мной!
Ты вспомнишь меня и возлюбишь.

Возывшей в бессонном зрачке
заводь мглы, где выводится слово,
без меня будет мало Оке
услаждать полусон рыболова.

— Оглянись! — донеслось.— Оглянись! —
Там ручей упирался в запруду.
Я подумала: цвет медуниц
не забыть описать. Не забуду.

Пред лицом моим солнце зашло.
Справа — Серпухов, слева — Алексин.
— Оглянись! — донеслось.— Ни за что.—
Трижды розово небо над лесом.

Слив двоюродно-близких цветов:
от лилового неотделимы
фиолетовость детских стихов
на полях с отпечатком малины.

Такова ж медуница для глаз,
только синее — гуще и ниже.
Чей-то голос в который уж раз:
— Оглянись! — умолял.— Оглянись же!

Оглянулась. Закрывает глаза.
Этот блеск, повергающий в ужас
обожанья, я знаю, Ока.
Как ты любишь меня, как ревнуешь!

— О, прости! — я просила Оку.
Я опять поднималась на сцену.
Поклонюсь — и писать не могу,
поглядеть на бумагу не смею.

Неопрятен и славен удел
ведать хладом, внушаемым залу.
Голос мой обольщает людей.
Это грех или долг — я не знаю.

Это страх так отважно поет,
обманув стадион бледнолицый.
Горла алого рваный проем
был ли издали схож с медуницей?

Я лишь здесь совершенно не лгу.
Хоть за это пошли мне прощенья.
Здесь впервые мой след на снегу
я увидела без отвращенья.

«Это кто-то хороший стоял»,—
я подумала и засмеялась.
Я-то знала, как путник устал,
как ему этой ночью писалось.

Я жалею февраль мой и март.
Сердце как-то задумчиво бьется.
Куковал многократный обман:
время есты! все еще обойдется!

Что сулят мне меж мной и Окой
препирательства и примиренья —
от строки я узнаю другой,
не из этого стихотворенья.

ЧЕРЕМУХА

Когда влюбленный ум был мартом очарован,
сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,
до утренней зари и дольше — до черемух,
подумав: досижу, коль бог пошлет дожить.

Сказала — от любви к немислимости срока,
нюх в имени цветка не узнавал цветка.
При мартовской луне чернела одиноко —
как вежи сквозь метель — простертая строка.

Стих обещал, а бог позволил — до черемух
дожить и досидеть: перед лицом моим
сияет бледный куст, так уязвим и робок,
как будто не любим, а мучим и гоним.

Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.
Он не повинен в том, что мной предрешено.
Так бедное дитя отцовским обещаньем
помолвлено уже, еще не рождено.

Покуда, тяжело пав на южные ограды,
вакхически цвела и нежилась сирень,
Арагву променять на мрачные овраги
я в этот раз рвалась: о, только бы скорей!

Избранница стиха, соперница Тифлиса,
сейчас из лепестков, а некогда из букв!
О, только бы застать в кулисах бенефиса
пред выходом на свет ее молодой испуг.

Нет, здесь еще свежо, еще не могут вѣтлы
потупленных ветвей изъять из полых вод.
Но вопрошал мой страх: что с нею?

не цветет ли?

Сказали: не цветет, но расцветет вот-вот.

Не упустить ее пред-первое движение —
туда, где спуск к Оке становится полог.
Она не расцвела! — ее предположенье
наутро расцвести я забрала в полон.

Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.
Слабеют узелки стесненных лепестков —
и маленького рта желает знать зевота:
где свежее-влажный корм, который им иском.

Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.
Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.
Цветок, как нагота разбуженного глаза,
не может разглядеть: зачем не дали спать.

Стих, мученик любви, прими ее немилость!
Что раболепство ей твоих-моих чернил!
О, эта не из тех, чья верная взаимность
объявлять отворит и скуку причинит.

Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.
Но в чем далекий смысл той мартовской строки?
Что с бедной головой? Что с головой моею?
В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.

Там, где рабочий пульс под выпуклое темя
гнал надобную кровь и управлялся сам,
там впадина теперь, чтоб не стеснять растения,
беспамятный овраг и обморочный сад.

До утренней зари... не помню... до чего-то,
к чему не перенести влеченья и тоски,
чей паутинный клей... чья липкая дремота
висит между висков, где вязнут мотыльки...

Забытая строка во времени повисла.
Пал первый лепесток, и грустно, что — к теплу.
Всегда мне скусен был выискиватель смысла,
и угодить ему я не могу: я сплю.

ЧЕРЕМУХА ТРЕХДНЕВНАЯ

Три дня тебе, красавица моя!
Не оскудел твой благородный холод.
С утра Ольга Ивановна приходит:
— Ты угоришь! Ты выйдешь из ума!

Вождь белокурый странных дум, три дня
твои я исповедовала бредни.
Пора очнуться. Уж звонят к обедне.
Нефедов нынче снова у меня.

— Все так и есть! Душепогубный цвет
смешал тебя! Какой еще Нефедов?
— Почуевский ученый барин: с ведром
нас поздравлял как добрый наш сосед.

— Что делает растенье-озорник!
Тут чей-то глаз вмешался, чья-то зависть.
— Мне все, Ольга Ивановна, казалось,—
к чему это? — что дом его сгорит.

Так было жаль улыбчивых усов,
и чесучи по-летнему, и трости.
Как одуванчик — кружевные гости
развеются, все ветер унесет.

— Уж чай готов. А это, что свело
тебя с ума, я выкину, однако.
И выгоню Нефедова.— Не надо.
Всё — мимолетно. Все пройдет само.

— Тогда вставай.— Встаю. Какая глушь
в уме моем, какая лень и лунность.
Я так, Ольга Ивановна, люблю вас,
что поневоле слог мой неуклюж.

Пьем чай. Ольга Ивановна такой
выскивает позы, чтобы глазом
заботливым в мой поврежденный разум
удобней было заглянуть тайком.

Как чай был свеж! Как чудно мед горчил!
Как я хитра! — ни чаем и ни медом
не отвлеклась от знания, что Нефедов
изящно-грузно с дрожек соскочил.

С Нефедовым мы долго говорим
о просвещенье, и, при встрече рюмок,
о мрачных днях отечества горюем,
и вялое правительство браним.

Конечно, о Толстом. Мы, кстати, с ним
весьма соседи: Серпухов и Тула.
Затем, гнушаясь изменностью стула, —
о будущем, чей свет неодолим.

О, кто-нибудь, спроси меня о том... —
нет никого! — Мне все равно! Пусть спросит:
— Про вас все ясно. Но Нефедов сродствен
вам почему? Ведь он-то — здрав умом?

— О, совершенно. Вся его родня
известна здравомыслием, и сам он
сдавал по электричеству экзамен.
Но — и его черемухе три дня.

Нет никого — так пусть молчат. Скорей!
Нефедов милый, это вы сказали,
что прельщены зелеными глазами
Цветаева двух юных дочерей?

Да, зеленью под сильной кручей лба,
как и сказал, он был прельщен! А как же
не быть? Заметно: старшей, музыкантше,
назначена счастливая судьба.

— Я б их привел, но — зябкая весна
и, кажется, они теперь на водах.
— Они в Нерви. Да и нельзя, Нефедов,
не надобно: их матушка больна.

Ушел. Ольга Ивановна вошла.
Лишь глянула — и сразу укорила:
— Да чем же ты Нефедова кормила?
Ей-ей, ты не в себе, моя душа.

— Он вам знаком? — Еще бы не знаком!
Предобрый, благородный, только — нервный.
Хвала моей черемухе трехдневной!
Поздравьте нас с ее четвертым днем.

Он начался. Как зелены леса!
Зеленым светом воды полыхнули.
Иль это созерцают полнолуны
двух девочек зеленые глаза?

1981

ЧЕРЕМУХА ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ

Пока черемухи влиянье
на ум — за ум я приняла,
что сотворим — она ли, я ли —
в сей месяц май, сего числа?

Души просторную покорность
я навязала ей взамен
отчизн откосов и околиц,
кладбищ и монастырских стен.

Все то, что целая окрестность
вдыхает,— я берусь вдохнуть.
Дай задохнуться, дай воскреснуть
и умереть — дай что-нибудь.

Владей — я не тесней округи,
не бойся — я странней людей,
возьми меня в рабы иль в други
или в овраги — и владей.

Какой мне вымысел надышишь?
Свободная повелевать,
что сочинишь и что напишешь
моей рукой в мою тетрадь?

К утру посмотрим — а куда
окуривай мои углы.
В середине замкнутого круга —
любовь или канун любви.

Нет у тебя другого знания:
для вечных наущений двух,
для упования и терзанья
цветет твой болетворный дух.

Уже ты насылаешь птицу,
чьё имя в тайне сохранию,
что не снисходит к очевидцу,
чей голос не сплошной сравню

с обрывом сердца, с ожиданьем
соседней бездны на краю,
для пробы, с любопытством дальним,
на миг втянувшей жизнь мою

и отпустившей,— ей не надо
того, чему не вышел срок.
Но вот ее привет из сада
донесся, искусил и смолк.

Во что, черемуха, играем —
я помню, знаю, что творим.
Уж я томлюсь недомоганьем
всемирно-сущим — как своим.

Твой запах — вкрадчивая сводня,—
луна и птицы ведовство
твердят, что именно сегодня,
немедленно... но что? Да всё!

Вся жизнь, все разрыванье сердца —
сейчас, не припасая впрок.
Двух зорь сплоченное соседство
теснит мой заповедный срок.

Но пагубою приворота
уста я напитаю чьи?
Нет гостя, кроме самолета
в необитаемой ночи.

Продлится за моею шторой
запинка быстрых двух огней,
та доля вечности, которой
довольно выдумке моей.

Что Паршино ему, Пачёво,
Ладыжино, Алекинó?
Но сердце летчика ночного
уже любить обречено

свет неразборчивый. Отныне
он станет волен, странен, дик.
Его отринут все родные.
Он углубится в чтение книг.

Помолвку разорвет, в отставку
подаст — нельзя! — тогда в Чечню,
в конец недоуменья, в схватку,
под пулю, неизвестно чью.

Любым испытано, как властно
влечет нас островерхий снег.
Но сумрачный прищур Кавказа
мирволит нам в наш скушный век.

Его пошлют, но в санаторий.
Печаль, печаль. Наверняка
от лютой мирности снотворной
он станет пить. Тоска, тоска.

Нет, жаль мне летчика. Движеньем
давай зайдем его другим.
Спасем, повысим в чине, женим,
но прежде — разминемся с ним.

Черемуха, на эти шутки
не жаль растраты бытия.
Светает. Как за эти сутки
осунулись и ты, и я.

Слабеет дух твой чудотворный.
Как трогательно лепестки
в твой день предсмертный, в твой четвертый
на эти падают стихи.

Весной, в твоих оврагах отчих,
не знаю: свидимся ль опять?
Несется невредимый летчик
ночного измышленья вспять.

Пошли ему не ведать муки.
А мне? Дыханья перебой

привносит птица в грусть разлуки
с тобой, и только ли с тобой?

Дай что-нибудь! Дай обещастья!
Дай не принять мой час ночной
за репетицию прощанья
со всем, что так любимо мной.

1981

* * *

Есть тайна у меня от чудного цветенья,
здесь было б: чуднаГО — уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».

Где для него возьму услад правописанья,
хоть первороден он, как речи приворот?
Что — речь, краса полей и ты, краса лесная,
как не ответный труд вобравших вас аорт?

Лишь грамота и вы — других не видно родин.
Коль вытоптан язык — и вам не устоять.
Светает, садовод. Светает, огородник.
Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.

Я этою весной все встретила растенья.
Из-под земли их ждал мой повивальный взор.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
И как же ей не быть? Все, что не тайна, — вздор.

Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
«Эй, ключики!» — скажи — он будет тут как тут.
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
А грамотеи — чтут и буквицей зовут.

Ах, буквица моя, все твой букварь читаю.
Как азбука проста, которой невдомек,
что даже от тебя я охраняю тайну,
твой ключик золотой ее не отомкнет.

Фиалки прожила и проводила в старость
уменье медуниц изображать закат.
Черемухе моей — и той не проболталась,
под пыткой божества и под его диктант.

Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
оставила расцвествать... и тут же, вопреки
пустым словам, в окне, так близко и внезапно
прозрел ее цветок в конце моей строки.

Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
чтобы цветочный мед названий целовать.
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
Но весь цветник земной — не гуще, чем словарь.

В отместку мне — пчела в мою строку влетела.
В чужую сласть впилась ошибка жадных уст.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
Но ландыш расцветет — и я проговорюсь.

1981

НОЧЬ УПАДАНИЯ ЯБЛОК

Семену Липкину

Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья —
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал — кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьем съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.
— Да и не будет! — слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» — извне поставив ударенье.

Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьется кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это — август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызая и попирая плодородье,
жизнь милая идет домой с гулянок.

1981

ФЕВРАЛЬСКОЕ ПОЛНОЛУНИЕ

Пять дней назад, бесформенной луны
завидев неопрятный треугольник,
я усмехнулась: дерзок второгодник,
сложивший эти ямы и углы.

Сказала так — и оробела я.
Возможно ли оспорить птицелова,
загадочно изрекшего, что слово
вернуть в силоч трудней, чем воробья?

Назад, на двор! Нет, я не солгала.
В ней было меньше стати, чем изьяна.
Она того забыла иль не знала,
чье имя — тайна. Глупая луна!

При ней ютилась прихвостень-звезда.
Был скушен вид их неприглядной связи.
И вялое влиянье чьей-то власти
во сне я отгоняла от виска.

Я не возьму луны какой ни есть.
Своей хочу! Я ей не раб подлунный.
И ужаснулся птицелов: подумай
пред тем, как словом вызвать гнев небес.

И он был прав. Послышалось: — Иди!
— Иду.— Быстрей! — Да уж куда быстрее.
Где валенки мои? — На батарее.
Оставь твой вздор, иди и жди беды.

Эх, валенки! Ваш самотворный бег
привадился к дороге на Пачёво.
Беспечны будем. Гнев небес печется
о нашем ходе через торный снег.

Я глаз не открывала, повредить
им опасаясь тем, что ум предвидел.
Пойдем вслепую — и куда-то выйдем.
Неведом путь. Всевидящ поводырь.

— Теперь смотри.— Из чащи над Окой
она восстала пламенем округлым.
Ту грань ее, где я прозрела угол,
натягивал и насыщал огонь.

Навстречу ей вставал ответный блеск.
Да, это лишь. Все прочее не полно.
Не снес бы глаз блистающего поля,
когда б за ним не скромно-черный лес.

Но есть ли впрямь Пачёво? Есть ли я?
Где обитает тот, чье имя — тайна?
Пусть мимолетность бытия случайна,
есть вечный миг вблизи небытия.

Мой — узнан мною и отпущен мной.
Вот здесь, где шла я в сторону Пачёва,
он без меня когда-нибудь очнется,
в снегах равнин, под полною луной.

Увы, поимщик воробьиных бегств.
Зачем равнинам предвещать равнины?
Но лишь когда слова непоправимы,
устам отверстым оправданье есть.

Мороз и снег выпрашивают слез,
и я не прочь, чтоб слезы заблестели.
Три дня не открывала я постели,
и всяк мне дик, кто спросит: как спалось?

Всю ночь вокруг окон за луной иду.
Вот крайнее. Девятый час в начале.
Сопроводив ее до светлой дали,
вернусь к окну исходному — и жду.

РОД ЗАНЯТИЙ

Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай,
мое стихотворенье о десятом
дне февраля. Пятнадцатый почат
день февраля. Восхода недостаток

мне возместил предутренный не-цвет,
какой в любом я уличаю цвете.
Но эту смесь составил фармацевт,
нам возбранивший думать о рецепте.

В сей день покаюсь пред прошедшим днем.
Как ты велел, мой лютый исповедник,
так и летит мой помысел о нем
черемуховой осыпью под веник.

Печально озираю лепестки —
кочки моих писаний пятинощных.
Я погубитель лун и солнц. Прости.
Ты в этом не повинна, печь-сообщник.

Пусть небеса прочтут бессвязный дым.
Диктанта их занесшийся тупица,
я им пишу, что Сириус — один
у них, но рядом Орион толпится.

Еще пишу: все началось с луны.
Когда-то, помню, я щекою льнула
к чему-то, что не властно головы
угомонить в условиях полнолуныя.

Как дальше, печь? Десятое. Темно.
Тень птичьих крыл метнулась из оврага.
Не зря мое главнейшее окно
я в близости зари подозревала.

Нет, Ванька-мокрый не возжег цветка.
Жадней меня он до зари охотник.
Что там с Окой? — Черным-бела Ока,—
мне поклялись окно и подоконник.

Я ринулась к обратному окну:
— А где луна? — ослепнув от мороза,
оно или не видело луну,
или гнушалось глупостью вопроса.

Оплошность дремы взору запретив,
ушла, его бессонницей пресытясь!
Где раболепных букв и запятых
сокрылся самодержец и проситель?

Где валенки? Где двери? Где Ока?
Ум неусыпный — слаб, а любопытен.
Луну сопровождали три огня.
Один и не скрывал, что он — Юпитер.

Чуть полнокружья ночь себе взяла,
но яркости его не повредила.
А час? Седьмой, должно быть, и весьма.
Уж видно, что заря неотвратима.

Я оглянулась, падая к Оке.
Вон там мой Ванька, там мои чернила.
Связь меж луной и лампою в окне
так коротка была, так очевидна.

А там внизу, над розовым едва
(еще слабей... Так будущего лета
нам роза нерасцветшая видна
отсутствием и обещаньем цвета...

в какое слово мысль ни окунем,
заря предстанет ясною строкою,
в конце которой гаснет огонек
в селе, я улыбнулась, за рекою...),—

там блеск вставал и попирал зарю.
Единственность, ты имени не просишь,
и только так тебя я назову.
Лишь множества — не различить без прозвищ.

Но раб, в моей ютящийся крови,
чей горб мою вытягивает ношу,
поднявший к небу черные круги,
воздвигший то, что я порву и брошу,

смотрел в глаза родному божеству.
Сильней и ниже остального неба
сияло то, чего не назову.
А он — молился и шептал: Венера...

Что было дальше — от кого узнать?
На этом и застопорились строки.
Я постояла и пошла назад.
Слепой зрачок не разбирал дороги.

В луне осталось мало зримых свойств.
Глаз напрягался, чтоб ее проведать,
зато как будто прозревал насквозь
прозрачно-беззащитную поверхность.

В девять часов без четверти она
за паршинское канула заснежье.
Ей нет возврата. Рознь луне луна.
И вечность дважды не встречалась с ней же.

Когда зайдет — нет ничего взамен.
Упустишь — плачь о мире запредельном.
Или воспой, коль хочешь возыметь,—
и плачь о полнолуныи самодельном.

В тот день через одиннадцать часов
явилась пеклом выпуклым средь сосен,
и робкий круг, усопший средь лесов,
ей не знаком был, мало — что не сродствен.

К полуночи уменьшилась. Вдоль глаз
промчалась вместе с мраком занебесным.
Укрылась в мутных нетях. Предалась
не пушкинским, а беспризорным бесам.

Безлунно и бесплодно дни текли.
Раб огрызался, обратиться если
с покорной просьбой. Где его стишки?
Не им судить о безымянном блеске.

О небе небу делают доклад.
Дай бездны им! А сами — там, в трясине
былого дня. Его луну догнать
в огне им будет легче, чем в корзине.

Вернусь туда, где и стою: в не-цвет.
Он осторожен и боится сглазу.
Что ты такое? — Сдержанный ответ
не всякий может видеть и не сразу.

Он — нелюдим, его не нарекли
эпитетом. О пылкость междометья,
не восхваляй его и не груби
пугливому мгновенью междуцветья.

Вот-вот вспугнут. Расхожая лыжня
простерта пред зарядкою заядлой.
В столь ранний час сюда тащусь лишь я.
Но что за холод! Что за род занятий!

Устала я. Мозг застлан синевой.
В одну лишь можно истину взглядеться:
тот ныне день, в который Симеон
спас смерть свою, когда узрел Младенца.

Приемыш я иль вовсе сирота
со всех сторон глядящего пространства?
Склонись ко мне, о ты, кто сорока
дней от роду мог упокоить старца.

Зов слышался... нет, просьба...
нет, мольба...
Пришла! Но где была? Что с нею случилось?
Иль то усталость моего же лба,
всплывши в небо, надо мной смеялась?

Полулуна изнемогала без
полулуны. Где раздобыть вторую?
Молчи, я знаю, счетовод небес!
Твоя — при ней, я по своей горюю.

Но весело взбиралась я на холм.
Испуг сорочий ударял в трещотки.

И пышущих здоровьем и грехом
румяных лыжниц проносились щеки.

На понедельник сретенье пришлось,
и нас не упасло от встреч никчемных.
Сосед спросил: «Как нынче вам спалось?»
Что расскажу я о моих ночевках?

Со мной в соседях — старый господин.
Претерпевая этих мест унынье,
склоняет он матерьялизм седин
и в кушанье, и в бесполезность книги.

Я здесь давно. Я приняла уклад
соседств, и дружб, и вспльчивых объятий.
Но странен всем мой одинокий взгляд
и непонятен род моих занятий.

1982

ГУСИНЫЙ ПАРКЕР

Когда, под бездной многостройной,
вспять поля белого иду,
восход моей звезды настольной
люблю я возыметь в виду.

И кажется: ночной равниной,
чья даль темна и грозен верх,
идет, чужим окном хранимый,
другой какой-то человек.

Вблизи завидев бесконечность,
не удержался б он в уме,
когда б не чьей-то жизни встречность,
одна в неисчислимой тьме.

Кто тот, чьим горестным уделом
терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?
Униженный, скитался где он?
Озябший, сыщет ли ночлег?

Пусть будет мной — и поскорее,
вот здесь, в мой лучший час земной.
В других местах, в другое время
он прогадал бы, ставши мной.

Оставив мне снегов раздолье,
вот он свернул в мое тепло.
Вот в руки взял мое родное
злато-гусиное перо.

Ему кофейник бодро служит.
С пирушки шлют гонца к нему.
Но глаз его раздумьем сужен,
и ум его брезглив к вину.

А я? В Ладыжинском овраге
коли не сгину — огонек
увиду и вздохну: навряд ли
дверь продавщица отомкнет.

Эх, тьма, куда не пишут письма!
Что продавщица! — у ведра
воды не выпросишь напиток:
рука слаба, вода — тверда.

До света нового, до жизни
мне б на печи не дотянуть,
но ненавистью к продавщице
душа спасется как-нибудь.

Зачем? В помине нет аванса.
Где вы, моих рублей дружки?
А продавщица — самовластна,
как ни грози, как ни дрожи.

Ну, ничего, я отскитаюсь.
С полочки я развею грусть:
и с продавщицей расквитаюсь,
и с тем солдатом разберусь.

Ты спятил, Паркер, ты ошибся!
Какой солдат? — Да тот, узбек.
Волчицей стала продавщица
в семь без пяти. А он — успел.

Мой Паркер, что тебе в Ладыге?
Очнись, ты родом не отсель.
Зачем ты предпочел латыни
докуку наших новостей?

Светает во снегах отчизны.
А расторопный мой герой
еще гостит у продавщицы:
и смех, и грех, и пир горой.

Там пересуды у колодца.
Там масленицы чад и пыл.
Мой Паркер сбивчиво клянется,
что он там был, мед-пиво пил.

Мой несравненный, мой гусиный,
как я люблю, что ты смешлив,
единственный и неусыпный
сообщник тайных слез моих.

1982

ПРОГУЛКА

Как вольно я брожу, как одиноко.
Оступишься — затянет небосвод.
В рассеянных угодьях Ориона
не упасть от мысли обо всем.

— О чем, к примеру? — Кто так опрометчив,
чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь
нам приоткрыт лишь маленький примерчик
великой тайны: собственная смерть.

Привнесена подробность в бесконечность —
роднее стал ее сторонний смысл.
К вселенной недозволенная нежность
дрожащем спектров виснет меж ресниц.

Еще спросить возможно: Пушкин милый,
зачем непостижимость пустоты
ужасною воображать могилей?
Не лучше ль думать: это там, где ты.

Но что это чернеет на дороге
злей, чем предмет, мертвей, чем существо?
Так оторопь коню вступает в ноги
и рвется прочь безумный глаз его.

— Позор! Иди! Ни в чем не виноватый
там столб стоит. Вы столько раз на дню
встречаетесь, что поля завсегда
давно тебя считает за родню.

Чем он измучен? Почему так страшен?
Что сторожит среди пустых равнин?
И голосом докучливым и старшим
какой со мной наставник говорит?

— О чем это? — Вот самозванца наглость:
моим надбровным взгорбьем излучен,
со мною же, бубня и запинаясь,
шептаться смел — и позабыл о чем!

И раздается добрый смех небесный:
вдоль пропасти, давно примечен ей,
кто там идет вблизи всемирных бедствий
окрайной своих последних дней?

Над ним — планет плохое предсказанье.
Весь скарб его — лишь нищета забот.
А он, цветными упоен слезами,
столба боится, Пушкина зовет.

Есть что-то в нем, что высшему расчету
не подлежит. Пусть продолжает путь.
И нежно-нежно дышит вечность в щеку,
и сладко мне к ее теплыни льнуть.

ПАЛЕЦ НА ГУБАХ

По улице крадусь. Кто бедный был Алферов,
чьим именем она наречена? Молчи!
Он не чета другим, замешанным в аферах,
к владениям чужим крадущимся в ночи.

Весь этот косогор был некогда кладбищем.
Здесь Та хотела спать... не надобно! Не то —
опять возьмутся мстить местам, ее любившим.
Тсс: палец на губах! — забылось, пронесло.

Я летом здесь жила. К своей же тени в гости
зачем мне не пойти? Колодец, здравствуй, брат.
Алферов, будь он жив, не жил бы на погосте.
Ах, не ему теперь гнушаться тем, что прах.

А вот и дом чужой: дом-схимник, дом-изгнанник.
Чердачный тусклый круг — его зрачок и взгляд.
Дом заточен в себя, как выйти — он не знает.
Но как душа его вокруг свободен сад.

Сад падает в Оку обрывисто и узко.
Но оглянулся сад и прынул вспять холма.
Дом ринулся ко мне, из цепких стен рванулся —
и мне к нему нельзя: забор, замок, зима.

Дом, сад и я — втроем причастны тайне важной.
Был тих и одинок наш общий летний труд.
Я — в доме, дом — в саду, сад — в сырости
овражной,
вдыхала сырость я — и замыкался круг.

Футляр, и медальон, и тайна в медальоне,
и в тайне — тайна тайн, запретная для уст.
Лишь смеркнется — всегда слетала к нам Тальони:
то флоксов повисал прозрачно-пышный куст.

Террасу на восход — оранжевым каким-то
затмили полотном, усилившим зарю.
У нас была игра: «Где потемней накидка? —
смеялась я,— пойду калитку отворю».

Пугались дом и сад. Я шла и отворяла
калитку в нижний мир, где обитает тень,—
чтоб видеть дом и сад из глубины оврага
и больше ничего не видеть, не хотеть.

Оранжевый, большой, по прозвищу: мещанский —
волшебный абажур сиял что было сил.
Чтобы террасы цвет был совершенно счастлив,
оранжевый цветок ей сад преподносил.

У нас — всегда игра, у яблони — работа.
Знал беспризорный сад и знал бездомный дом,
что дом — не для житья, что сад — не для оброка,
что дом и сад — для слез, для праведных трудов.

Не ждали мы гостей, а наезжали если —
дом лгал, что он — простак, сад начинал грустить
и делал вид, что он печется о семействе
и надобно ему идти плодоносить.

Съезжали! — и тогда, как принято: от печки,
пускались в пляс все мы и тени на стене.
И были в эту ночь прилежны и беспечны
мой закадычный стол и лампа на столе.

Еще там был чердак. Пока не вовсе смерклось,
дом, сад и я — на нем летали в даль, в поля.
И белый парус плыл: то бёховская церковь,
чтоб нас перекрестить, через Оку плыла.

Вот яблони труды завершены. Для зренья
прелестны их плоды, но грустен тот язык,
которым нам велят глухие ударенья
с мгновеньем изжитым прощаться каждый миг.

Тальони, дождь идет, как вам снести понурость?
Пока овраг погряз в заботах о грибах,
я книгу попрошу, чтоб Та сюда вернулась,
чьи эти дом и сад... тсс: палец на губах.

К делам других садов был сад не любопытен.
Он в золото облек тот дом внутри со мной
так прочно, как в предмет вцепляется эпитет.
(В саду расцвел пример: вот шар, он — золотой.)

К исходу сентября приехал наш хозяин,
вернее, только их. Два ужаса дрожат,
склоняясь перед тем, кто так и не узнает,
какие дом и сад ему принадлежат.

На дом и сад моя слеза не оглянулась.
Давно пора домой. Но что это: домой?
Вот почему средь всех на свете сущих улиц
мне ваша так мила, Алферов, милый мой.

Косится домосед: что здесь проходим надо?
Кто низко так глядит, как будто он горбат?
То — я. Я ухожу от дома и от сада.
Навряд ли я вернусь. Тсс: палец на губах...

ДЕНЬ-РАФАЭЛЬ

Пришелец День, не стой на розовом холме!
Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила.
Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне?
Я узнаю тебя. Ты родом из Урбино.

День-Божество, ступай в Италию свою.
У нас еще зима. У нас народ балует.
Завистник и горбун, я на тебя смотрю
и край твоих одежд мой тайный гнев целует.

Ах, мало оспы щек и гнилости в груди,
еще и кисть глупа и краски непослушны.
День-Совершенство, сгинь! Прочь от греха уйди!
Здесь за корсаж ножи всегда кладут пастушки.

Но ласково глядел Богоподобный День.
И брату брат сказал: «Брат досточтимый,
здравствуй!»
Престольный праздник трех окрестных деревень
впервые за века не завершился дракой.

Неузнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль.
Но мертвый дуб расцвел средь ровных долины.
И благостный закат над нами розовел.
И странники всю ночь крестились на руины.

1982

ЛЕБЕДИН МОЙ

Все в лес хожу. Заел меня репей.
Не разберусь с влюбленною колючкой:
она ли мой, иль я ее трофей?
Так и живу в губернии Калужской.

Рыбак и я вдвоем в ночи сидим.
Меж нами — рожи соловьев всенощных.
И где-то: «Лебедин мой, Лебедин...» —
заводит наш невидимый сообщник.

Костер внизу, и свет в моем окне —
в союзе тайном, в сговоре иль в споре.
Что думает об этом вот огне
тот простодушный, что погаснет вскоре?

Живем себе, не ищем новостей.
Но иногда и в нашем курослепе
гостит язык пророчеств и страстей
и льется кровь, как в Датском королевстве.

В ту пятницу, какого-то числа —
еще моя черемуха не смерклась —
соотносили ласточек крыла
глушь наших мест и странствий
кругосветность.

Но птичий вздор души не бережил
мечтаньем о теплых тридесятих.
Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин,
прокорма убыль и снегов достаток.

Да, в пятницу, чей приоткрытый вход
в субботу — все ж обидная препона
перед субботой, весь честной народ
с полдня искал веселья и приволья.

Ладыжинский задиристый мужик,
истопником служивший по соседству,
еще не знал, как он непрочно жив
вблизи субботы, подступившей к сердцу.

Но как-то он скучал и тосковал.
Ему не полегчало от аванса.
Запасся камнем. Поманил: — Байкал! —
Но не таков Байкал, чтоб отозваться.

Уж он-то знает, как судьбы бежать.
Всяк брат его — здесь мертв или калека.
И цел лишь тот, рожденный обожать,
кто за версту обходит человека.

Развитие событий торопя,
во двор вошли знакомых два солдата,
желая наточить два топора
для плотницких намерений стройбата.

К точильщику помчались. Мотоцикл —
истопника, чей обречен затылок.
Дождь моросил. А вот и магазин.
Купили водки: дюжину бутылок.

— Куда вам столько, черти? — говорю,—
показывала утром продавщица.
Ответили: — Чтоб матушку твою
нам помянуть, а после похмелиться.

Как воля весела и велика!
Хоть и не все меж ними ладно было.
Истопнику любезная Ока
для двух других — насильная чужбина.

Он вдвое старше и умнее их —
не потому, чтоб школа их учила
по-разному, а просто истопник
усмешливый и едкий был мужчина.

Они — моложе вдвое и пьяней.
Где видано, чтоб юность лебезила?
Нелепое для пришлых их ушей,
их раздражало имя Лебедина.

В удушливом насупленном уме
был заперт гнев и требовал исхода.
О том, что оставалось на холме,
два беглеца не думали нисколько.

Как страшно им уберегать в лесах
родимой жизни бедную непрочность.
Что было в ней, чтоб так ее спасти
в березовых, опасно-светлых рощах?

Когда субботу к нам послал восток,
с того холма, словно дымок ленивый,
воспыл души невзрачный завиток
и повисел недолго над Ладыгой.

За сорок верст сыскался мотоцикл.
Бег загнанный будет изловлен в среду.
Хоть был нетрезв, кто топоры точил,
возездие шло по прямому следу.

Мой свет горит. Костер внизу погас.
Пусть скрип чернил над непросохшим словом
как хочет, так распутывает связь
сюжета с непричастным рыболовом.

Отпустим спать чужую жизнь. Один
рассудок лампы бодрствует в тумане.
Ответствуй, Лебедин мой, Лебедин,
что нужно смерти в нашей глухомани?

Печальный от любви и от вина,
уж спрашивает кто-то у рассвета:
— Где, Лебедин, лебедушка твоя? —
Идут века. Даль за Окой светла.
И никакого не слышать ответа.

ГРЕБЕННИКОВ ЗДЕСЬ ЖИЛ...

Евгению Попову

Гребенников здесь жил. Он был богач и плут,
и километр ему не повредил сто первый.
Два дома он имел, а пил, как люди пьют,
хоть людям говорил, что оснащен торпедой.

Конечно, это он бахвалился, пугал.
В беспамятстве он был холодным, дальновидным.
Лафитник старый свой он называл: бокал —
и свой же самогон именовал лафитом.

Два дома, говорю, два сада он имел,
два пчельника больших, два сильных огорода,
и всё — после тюрьмы. Болтают, что расстрел
сперва ему светил, а отсидел три года.

Он жил всегда один. Сберкнижки — тоже две.
А главное — скопил характер знаменитый.
Спал дома, а с утра ходил к одной вдове.
И враждовал всю жизнь с сестрою Зинаидой.

Месткомом звал ее и членом ДОСААФ.
Она жила вдали, в юдоли оскуденья.
Всё б ничего, но он, своих годков достав,
боялся, что сестре пойдут его владенья.

Пивная есть у нас. Ее зовут «метро»,
понятно, не за шик, за то — что подземелье.
Гребенников туда захаживал. «Ты кто?» —
спросил он мужика, терпящего похмелье.

Тот вспомнил: «Я — Петров». — «Ну, — говорит, —
Петров,
хоть в майке ты пришел, в рубашке ты родился.
Ты тракторист?» — «А то!» — «Двадцать тракторов
тебе преподношу». Петров не рассердился.

«Ты лучше мне поставь». — «Придется потерпеть. Помру — тогда твои всемирные бокалы. Уж ты, брат, погудишь — в грядущем. А теперь подробно изложи твои инициалы».

Петров иль не Петров — не в этом смысл и риск. Гребенников — в райцентр. Там выпил перед щами. «Где, — говорит, — юрист?» — «Вот, — говорят, — юрист». — «Юрист, могу ли я составить завещанье?» —

«Извольте, если вы — в отчетливом уме. Нам нужен документ». — Гребенников все понял. За паспортом пошел. Наведался к вдове. В одном из двух домов он быстротечно помер.

И в двух его садах, и в двух его домах, в сберкнижках двух его — мы видим Зинаиду. Ведь даже в двух больших отчетливых умах такую не вместить ошибку и обиду.

Гребенников с тех пор является на холм и смотрит на сады, где царствует сестренка. Уходит он всегда пред третьим петухом. Из смерти отпуск есть, не то что из острога.

Так люди говорят. Что было делать мне? Пошла я в те места. Туманностью особой Гребенников мерцал и брезжил на холме. Не скажешь, что он был столь видною персоной.

«Зачем пришла?» — «Я к вам имею интерес». — «Пошла бы ты отсель домой, литература. Вы обещали мне, что справедливость — есть? Тогда зачем вам — всё, а нам — прокуратура?»

Приехал к нам один писать про край отцов. Все дети их ему хоромы возводили. Я каторгой учен. Я видел подлецов. Но их в сырой земле ничем не наградили.

Я слышал, как он врет про лондонский туман. Потом привез комбайн. Ребятам, при начальстве,

заметил: эта вещь вам всем не по умам.
Но он опять соврал: распалась вещь на части». —

«Гребенников, но я здесь вовсе ни при чем». —
«Я знаю. Это ты гноила летом угол
меж двух моих домов. Хотел я кирпичом
собачку постращать, да после передумал».

Я летом здесь жила, но он уже был мертв.
«Вот то-то и оно, вот в том-то и досада, —
ответил телепат. — Зачем брала ты мед
у Зинки, у врага, у члена ДОСААФа?»

Слышь, искупи вину. Там у меня в мешках
хранится порошок. Он припасен для Зинки.
Ты к ней на чай ходи и сыпь ей в чай мышьяк.
Побольше дозу дай, а начинай — с дозинки». —

«Гребенников, вы что? Ведь вы и так в аду?» —
«Ну, и какая мне опасна перемена?
Пойми, не деньги я всю жизнь имел в виду.
Идея мне важна. Все остальное — брэнно».

Он все еще искал занятий и грехов.
Наверно, скучно там, особенно сначала.
Разрозненной в ночи ораве петухов
единственным своим Пачёво отвечало.

Хоть исподволь, спроста наш тихий край живет,
событья есть у нас, привыкли мы к утратам.
Сейчас волнует нас движенье полых вод,
и тракторист Петров в них устремил свой трактор.

Он агрегат любил за то, что — жгуче-синь.
Раз он меня катал. Спаслись мы высшей силой.
Петров был неимуш. Мне жаль расстаться с ним.
Пусть в Серпухов плывет его кораблик синий.

Смерть пристально следит за нашей стороной.
Закрыли вдруг «метро». Тоскует люд смиренный.
То мыслит не как все, то держит за спиной
придирчивый кастет наш километр сто первый.

Читатель мой, прости. И где ты, милый друг?
Что наших мест тебе печали и потехи?
Но утешенье в том, что волен твой досуг.
Ты детектив другой возьмешь в библиотеке.

1982

* * *

Я лишь объем, где обитает что-то,
чему малы земные имена.
Сооруженье из костей и пота —
его угодья, а не плоть моя.

Его не знаю я: смысл-незнакомец,
вселившийся в чужую конуру,—
хозяев выжить, прыгнуть в законность,
не оглянуться, если я умру.

О слово, о несказанное слово!
Оно во мне качается смелей,
чем я, в светопролитье небосклона,
качаюсь дрожью листьев и ветвей.

Каков окликнуть безымянность способ?
Не выговорю и не говорю...
Как слово звать — у словаря не спросишь,
покуда сам не скажешь словарю.

Мой притеснитель тайный и нетленный,
ему в тисках известного тесно.
Я растекаюсь, становлюсь вселенной,
мы с нею заодно, мы с ней — одно.

Есть что-то. Слова нет. Но грозно кроткий
исток его уже любовь исторг.
Уж видно, как его грядущий контур
вступается за братьев и сестер.

Как это все темно, как бестолково.
Кто брат кому и кто кому сестра?
Всяк всякому. Когда приходит слово,
оно не знает дальнего родства.

Оно в уста целует бездыханность.
Ответный выдох — слышим и велик.
Лишь слово попирает бред и хаос
и смертным о бессмертье говорит.

1982

СИРЕНЕВОЕ БЛЮДЦЕ

Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
У слабоумья есть застенчивый секрет:
оно влюбилось в чушь раскрашенного блюдца,
в юродивый узор, в уродицу сирень.

Куст-увалень, холма одышливый вельможа,
какой тебя вписал невежа садовод
в глухую ночь мою и в тот, из Велигожа
идуший, грубый свет над льдами Окских вод?

Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени
со мною говорит. Бесхитростный фарфор
про детский цвет полей, про лакомство сурепки
навязывает мне насильно-кроткий вздор.

В закрытые глаза — уездного музея
вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,
и бабушки моей клубится бумазая,
иль как зовут крыла старинной нищеты?

О, если б лишь сирень! — я б вспомнила окраин
сады, где посреди изгоев и кутил
жил сбивчивый поэт, книгочий и архаик,
себя нарекший в честь прославленных куртин.

Где бедный мальчик спит над чудною могилой,
не помня: навсегда или на миг уснул,—
поэт Сиренев жил, цветущий и унылый,
не принятый в журнал для письменных услуг.

Он сразу мне сказал, что с этими и с теми
людьми он крайне сух, что дни его придут:
он станет знаменит, как крестное растенье.
И улыбалась я: да будет так, мой друг.

Он мне дарил сирень и множества сонетов,
белели здесь и там их пышные венки.
По вечерам — живей и проще жил Сиренев:
красавицы садов его к Оке влекли.

Но все ж он был гордец и в споре неуступчив.
Без славы — не желал он продолженья дней.
Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим
являлось сходство в ней все ярче и грустней.

Я съехала в снега, в те, что сейчас сгорели.
Где терпит мой поэт влияния весны?
Фарфоровый портрет веснушчатой сирени
хочу я откупить иль выкрасть у казны.

В моем окне висит планет тройное пламя.
На блюде роковом усталый чай остыл.
Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.
Но, может, чем умней, тем бесполезней стих.

ПЕЧАЛИ И ШУТОЧКИ: КОМНАТА

В ту комнату, где прошлою зимой
я приютила первый день весенний,
где мой царевич, оборотень мой,
цвел Ванька-мокрый, мокрый и воспетый...

Он и теперь стоит передо мной,
мой конфидент и пристальный ревнивец.
Опять полужимой, полувесной
над ним слова моей любви роились.

Ах, Ванька мой, ты — все мои сады.
Пусть мне простит твой добродушный гений,
что есть другой друг сердца и судьбы:
совсем другой, совсем не из растений.

Его любовь одна пеклась о том,
чтоб мне дожить до правильного срока,
чтоб из Худфонда позвонили в дом,
где снова я добра и одинока.

Фамилии причудливой моей
Наталия Ивановна не знала.
Решила: из начальственных детей,
должно быть, кто-то — не того ли зама,

он, помнится, башкир, как, бишь, его?
И то сказать: так башковит, так въедлив.
Ах, дока зам! Не знал он ничего
и ведомством своим давно не ведал.

Так я втеснилась в стены и ковер,
которые мне были не по чину.
В коротком отступлении кривом
воздам хвалу опальному башкиру.

Меня и ныне всякий здесь зовет
лишь Белочкой иль Белкой не случайно.
Кто я? Зато здесь знаменит зверек,
созвучье с ним дороже величанья.

...В ту комнату, о коей разговор
я начала по вольному влеченью,
со временем вселился ревизор,
уже по праву и по назначенью.

Его приезда цель — важна весьма:
беспечный медик пропил изолятор.
Но комната уже была умна,
и ум ее смешался и заплакал.

Зачем ей медицинские весы
и мысль о них? Не жаль ей аспирина.
Она привыкла, чтобы в честь звезды
я растворила кофе иль сварила.

Я думала: несчастный человек!
Он пропадет: решился он на что же?
Ведь в то окно, что двух других левей,
привнесено мое лицо ночное.

А главное, восходное, окно!
Покуда в нем главенствует Юпитер,
что будет с бедным, посягает кто
всего, что бренно, исчислять убыток?

Не говорю про алый абажур
настойной лампы! По слепому полю
тащусь к нему, бывало, и бешусь:
так и следит, так и зовет в неволю.

Любая вещь — задиристый сосед
и сладит с постояльцем оробелым.
Шкаф с домовым — и тот не домосед
и рвется прочь со скрипом корабельным.

Но ревизор наружу выходил
не часто и держался суверенно.
Ключ повернув, он пил всегда один,
что остальные знали достоверно.

Не ведаю, он помышлял о чем,
подверженный влиянью роковому.
Но срок истек. И вот какой отчет
районному он подал прокурору:

«Похищены: весы, медикаменты
и крыша зданья, но стропила целы.
Вблизи комет несущихся — как мелки
комедьи нищей ценности и цены.

Итог растраты: восемь тысяч. Впрочем,
нулю он равен при надземном свете.
Весь уцелевший инвентарь испорчен,
но смысл его преувеличен в смете.

Числа не помню и не знаю часа.
Налью цветку любезному водицы.
Еще в окно мой дятел не стучался
и не смеялся я в ответ: войдите!

Но Сириус уже в заочность канул.
Я возлюбил его огня осанку.
Кто без греха — пусть в грех бросает
камень.

А я — прощаюсь. Подаю в отставку».

Той комнаты ковер и небосвод
жильцов склоняют к бреду и восторгу.
В ней с той поры начальство не живет.
Я заняла соседнюю светелку.

А ревизор на самом деле пил
один. Хищенья скромному герою
суд не простил задумчивых стропил,
таинственно не подпиравших кровлю.

В ту комнату я больше не хожу.
Но комната ко мне в ночи крадется.
По ветхому второму этажу
гуляет дрожь, пол бедствует и гнется.

Люблю я дома маленькую жизнь,
через овраг бредущую с кошелкой.

Вот наш пейзаж: пейзаж и пейзажист,
и солнце бьет в его этюдник желтый.

Здесь нет других прохожих — всяк готов
хоть как-нибудь изобразить округу.
Махну рукой: счастливых вам трудов! —
и улыбнемся ласково друг другу.

Мы — ровня, и меж нами распри нет.
Спаслись бы эти бедные равнины,
когда бы лишь художник и поэт
судьбу их беззащитную хранили.

Отъезд мой скорый мне внушает грусть.
Страдает заколдованный царевич.
Мой ненаглядный, я еще вернусь.
Ты под опекой солнца уцелеешь.

Последней ласки просят у пера
большие дни и вещи-попрошайки.
Наталия Ивановна, пора!
Душа моя, сердечный друг, прощайте.

САД-ВСАДНИК

За этот ад,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.

Марина Цветаева

Сад-всадник летит по отвесному склону.
Какое сверканье и буря какая!
В плаще его черном лицо мое скрою,
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.
Вовек не бывало столь позднего часа,
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
Где конь отыскался для всадника сада?
И нет никого, но приходится с каждым
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает уголья,
и гриву коня в него ветер бросает.
Одною рукою он держит поводья,
другую мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?
— Не бойся! То — длинный туман над равниной,
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:
— Презренный младенец за пазухой отчей!
Короткая гибель под царскою лаской —
навечнее пагубы денной и ночной.

О всадник-родитель, дай тьмы и теплыни!
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,
что слово Лесного Царя отвратимо.
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
все было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:
с откоса в Оку, как пристало изгою,
летит он нырляльщиком необратимым
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью черной,
в завременье позднем, сад-всадник несется.
Ребенок, Лесному Царю обреченный,
да не убоится, да не упасется.

* * *

Воздух августа: плавность услад и услуг.
Положенье души в убывающем лете
схоже с каменным мальчиком, тем, что уснул
грациозней, чем камни, и крепче, чем дети*.

Так ли спит, как сказала? Пойду и взгляну.
Это близко. Но трудно колени и локти
провести сквозь дрожащую в листьях луну,
сквозь густые, как пруд, сквозь холодные флоксы.

Имя слабо, но воля цветка такова,
что навяжет мотив и нанижет подробность.
Не забыть бы, куда я иду и когда,
вперив нюх в самовластно взрослеющий образ.

Сквозь растенья, сквозь хлесткую чашу воды,
принимая их в жабры, трудясь плавниками,
продираюсь. Следы мои возле звезды
на поверхности ночи взошли пузырьками.

1982

* На могиле художника В. Э. Борисова-Мусатова в Тарусе установлено мраморное надгробье работы скульптора А. Т. Матвеева «Уснувший мальчик».

ЗАБЫТЫЙ МЯЧ

Забыли мяч (он досаждал мне летом).
Оранжевый забыли мяч в саду.
Он сразу стал сообщником календул
и без труда втесался в их среду.

Но как сошлись, как стройно потянулись
друг к другу. День свой учредил зенит
в календулах. Возможно, потому лишь,
что мяч в саду оранжевый забыт.

Вот осени причина, вот зацепка,
чтоб на костре учить от тьмы до тьмы
ослушников, отступников от цвета,
чей абсолют забыт в саду детьми.

Но этот сад! Чей пересуд зеленым
его назвал? Он — поджигатель дач.
Все хороши. Но первенство — за кленом,
уж он-то ждал: когда забудут мяч.

Попался на нехитрую приманку
весь огонь земной. И, судя по всему,
он обыграет скромную ремарку
о том, что мяч был позабыт в саду.

Давно со мной забытый мяч играет
в то, что одна хожу среди осин,
смотрю на мяч и нахожу огарок
календулы. А вот еще один.

Минувший полдень был на диво ясен
и упростил неисчислимый быт
до созерцанья важных обстоятельств:
снег пал на сад и мяч в саду забыт.

БАБОЧКА

День октября шестнадцатый столь тепел,
жара в окне так приторно желта,
что бабочка, усопшая меж стекол,
смерть прервала для краткого житья.

Не страшно ли, не скушно ли? Не зря ли
очнулась ты от участи сестер,
жаднейшая до бранных лакомств яви
среди прочих шоколадниц и сластен?

Из мертвой хватки, из загробной дремы
ты рвешься так, что, слух острее будь,
пришлось бы мне, как на аэродроме,
глаза прикрыть и голову пригнуть.

Перстам неотпускающим, незримым
отдав щепотку боли и пыльцы,
пари, предавшись помыслам орлиным,
сверкай и нежься, гибни и прости.

Умру или нет, но прежде изнурю я
свечу и лоб: пусть выдумают — как
благословлю я хищность жизнелюбья
с добычей жизни в меркнувших зрачках.

Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник —
и Воскресенье бабочки моей.

1979

МОСКВА: ДОМ НА БЕГОВОЙ УЛИЦЕ

Владимиру Высоцкому

Московских сборищ завсегдадай,
едва очнется небосвод,
люблю, когда рассвет сохатый
чащобу дыма грудью рвет.

На Беговой — одной гостиной
есть плюш, и плен, и крен окна,
где мчится конь неугасимый
в обгон небесного огня.

И видят бельма рани блеклой
пустых трибун рассветный бред.
Фырчит и блещет бысролетный,
переходящий в утро бег.

Над бредом, бегом — над Бегами
есть плюш и плен. Есть гобелен:
в нем те же свечи и бокалы,
тлен бытия, и плюш, и плен.

Клубится грива ипподрома.
Крепчает рысь молодого дня.
Застолья вспльчивая дрема
остаток ночи пьет до дна.

Уж кто-то шей на кухне просит,
и лик красавицы ночной
померк. Окурки утра. Осень.
Все разбредаются домой.

Пирушки грустен вид посмертный.
Еще чего-то рыщет в ней
гость неминуемый последний,
что всех несносней и пьяней.

Уже не терпится хозяйке
уйти в черед дневных забот,
уж за его спиною знаки
она к уборке подает.

Но неподвижен гость угрюмый.
Нездешне одинок и дик,
он снова тянется за рюмкой
и долго в глубь вина глядит.

Не так ли я в пустыне лунной
стою? Сообщники души,
кем пир был красен многолюдный,
стремглав иль нехотя ушли.

Кто в стран полуденных заочность,
кто — в даль без имени, в какой
спасительна судьбы всеобщность
и страшно, если ты изгой.

Пригубила — как погубила —
непостижимый хлад чела.
Все будущее — прежде было,
а будет — быть, что я была.

На что упрямилось воловье
двужилье горловой струны —
но вот уже и ты, Володя,
ушел из этой стороны.

Не поспекает лба неумность
раслышать краткий твой ответ.
Жизнь за тобой вослед рванулась,
но вот — глядит тебе вослед.

Для этой мысли темной, тихой
стих занимался и старел
и сам не знал: при чем гостиной
вид из окна и интерьер?

Так вот какому вверясь року,
гость не уходит со двора!
Нет сил поднять его в дорогу
у суеверного пера.

В честь аллегии нехитрой
гость там зажился. Сгоряча
уже он обернул накидкой
хозяйки зябкие плеча.

Играй со мной, двойник понурый.
сиди, смотри на белый свет.

Отверстой бездны неподкупной
я слышу добродушный смех.

1982

СМЕРТЬ СОВЫ

Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза.
При этом — зла. При этом... Боже мой,
кем и за что наведена проказа
на этот лик, на этот край глухой?

С получки загуляют Нинка с братом —
подробности я удержу в уме.
Брат Нинку бьет. Он не рожден горбатым:
отец был строг, век вековал в тюрьме.

Теперь он, слышно, старичок степенный —
да не пускают дети на порог.
И то сказать: наш километр — сто первый.
Злодеи мы. Нас не жалеет бог.

Вот не с получки было. В сени к Нинке
сова внеслась.— Ты не коси, а вдарь!
Ведром ее! Ей — смерть, а нам — поминки.
На чучело художник купит тварь.

И он купил. Я относила книгу
художнику и у его дверей
посторонилась, пропуская Нинку,
и, как всегда, потупилась при ней.

Не потому, что уродились розно,—
наоборот, у нас судьба одна.
Мне в жалостных чертах ее уродства
видна моя погибель и вина.

Вошла. Безумье вспомнило: когда-то
мне этих глаз являлась нагота.
В два нежных, в два безвыходных агата
смерть божества смотрела — но куда?

Умеет так, без направленья взгляда,
звезда смотреть иль то, что ей сродни,

то, старшее, чему уже не надо
гадать: в чем смысл? — отверстых тайн среди.

Какой ценою ни искупим — вряд ли
простит нас тот, кто нарядил сову
в дрожь карих радуг, в позолоту ряби,
в беспомощную белизну свою.

Очнулась я. Чтобы столиц приветы
достигли нас, транзистор поднял крик.
Зловещих лиц пригожие портреты
повсюду улыбались вкось и вкривь.

Успела я сказать пред расставаньем
художнику: — Прощайте, милый мэтр.
Но как вы здесь? Вам, с вашим рисованьем,—
поблажка наш сто первый километр.

Взамен зари — незнаемого цвета
знак розовый помедлил и погас,
словно вопрос, который ждал ответа,
но не дождался и покинул нас.

Жива ль звезда, я думала, что длится
передо мною и вокруг меня?
Или она, как доблестная птица,
умеет быть прекрасна и мертва?

Смерть: сени, двух уродов перебранка —
но невредимы и горды черты.
Брезгливости посмертная осанка —
последний труд и подвиг красоты.

В ночи трудился сотворитель чучел.
К нему с усмешкой придвигался ад.
Вопль возносился: то крушил и мучил
сестру кривую синегорбый брат.

То мыслью занимаюсь я, то ленью.
Не время ль съехать в прежний уют?
Все медлю я. Все этот край жалею.
Все кажется, что здесь меня убьют.

НОЧЬ НА ТРИДЦАТОЕ МАРТА

В ночь на тридцатый марта день я шла
в пустых полях, при ветреной погоде.
Свой дальний звук к себе звала душа,
луну раздобывая в небосводе.

В ночь полнолуния не было луны.
Но где все мы и что случилось с нами
в ночи, не обитаемой людьми,
домишками, окошками, огнями?

Зиянья неба, сумрачно обняв
друг друга, ту являли безымянность,
которая при людях и огнях
условно мирозданьем называлась.

Сквозило. Это ль спугивало звук?
Четыре воли в поле, как известно.
И жаворонки всплакивали вдруг
в прозрачном сне — так нежно, так прелестно.

Пошла назад, в ту сторону, в какой
в кулисах тьмы событие созревало.
Я занавес, повисший над Окой,
в сокрытии луны подозревала.

И, маленький, меня окликнул звук —
живого неба воля и взаимность.
И прыгнула, как из веков разлук,
луна из туч и на меня воззрилась.

Внизу, вдали, под полною луной
алел огонь бесхитростного счастья:
приманка лампы, возожженной мной,
чтоб веселее было возвращаться.

ДРУГ СТОЛБ

В апреля неделю худую, вторую,
такую тоскою с Оки задувает.
Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.
Там нынче субботу народ затевает.

Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.
Балетным двуножьем упершийся в поле,
он стройно стоит, помышляя о чем-то,
что выше столбам уготованной роли.

Воспет не однажды избранник мой давний,
хождений моих соглядатай заядлый.
Моих со столбом мимолетных свиданий
довольно для денных и ночных занятий.

Все вёрсты мои сосчитал он и звезды
вдоль этой дороги, то вьюжной, то пыльной.
Друг столб, половина изъята из вёрстки
метелей моих при тебе и теплыней.

О том не кручинюсь. Я просто кручинюсь.
И коль не в Тарусу — куда себя дену?
Какой-то я новой тоске научилась
в худую вторую апреля неделю.

И что это — вёрстка? В печальной округе
нелепа обмолвка заумных угодий.
Друг столб, погляди, мои прочие друзья —
вон в той стороне, куда солнце уходит.

Последнего вскоре, при аэродроме,
в объятье на миг у судьбы уворую.
Все силы устали, все жилы продрогли.
Под клики субботы вступаю в Тарусу.

Все это, что жадно вспомню я после,
заране известно столбу-конфиденту.
Сквозь слезы смотрю на Пачёвское поле,
на жизнь, что продлилась еще на неделю.

Уж Сириус возголубел над долиной.
Друг столб о моем возвращенье печется.
Я, в радости тайной и неодолимой,
иду из Тарусы, минуя Пачёво.

1983

СУББОТА В ТАРУСЕ

Так дружно весна начиналась: все други
дружины вступили в сады-огороды.
Но, им для острастки и нам для науки,
сдружились суровые силы природы.

Апрель, благодетельный к сирым и нищим,
явился южанином и инородцем.
Но мы попривыкли к зиме и не ищем
потачки его. Обойдемся норд-остом.

Снега, отступив, нам прибавили славы.
Вот — землечерпалка со дна половодья
взошла, чтоб возглавить величие свалки,
насушной, поскольку субботник сегодня.

Но сколько же ярко цветущих коррозий,
диковинной, миром не знаемой, гнили
смогли мы содеять за век наш короткий,
чтоб наши наследники нас не забыли.

Субботник шатается, песню поющий.
Приемник нас хвалит за наши свершенья.
При лютой погоде нам будет сподручней
приветить друг в друге черты вырожденья.

А вдруг нам откликнутся силы взаимны
пространства, что смотрит на нас обреченно?
Субботник окончен. Суббота — в зените.
В Тарусу я следую через Пачёво.

Но все же какие-то русские печи
радеют о пище, исходят дымами.
Еще из юдоли не выпрягли плечи
пачёвские бабки: две Нюры, две Мани.

За бабок пачёвских, за эти избушки,
за кладни, за желто-прозрачную иву
кто просит невидимый: о, не забудь же! —
неужто отымут и это, что иму?

Деревня — в соседях с нагрывавшей дурью
захватчиков неприкасаемой выси.
Что им-то неймется? В субботу худую
напрасно они из укрытия вышли.

Буксуют в грязи попиратели неба.
Мои сапоги достигают Тарусы.
С Оки задувает угрозою снега.
Грозу предрекают пивной златоусты.

Сбывается та и другая растрата
небесного гнева. Знать, так нам и надо.
При снеге, под блеск грозового разряда,
в «Оке», в заведенье второго разряда,
гуляет электрик шестого разряда.
И нет меж событиями сими разлада.

Всем путникам плохо, и плохо рессорам.
А нам — хорошо перекинуться словом
в «Оке», где камин на стене нарисован,
в камин же — огонь возожженный врисован.

В огне дожигает последок зарплаты
Василий, шестого разряда электрик.
Сокроюсь, коллеги и лауреаты,
в содружество с ним, в просторечье элегий.

Подале от вас! Но становится гулок
субботы разгул. Поищу-ка спасенья.
Вот этот овраг назывался Игумнов.
Руины над ним — это храм Воскресенья.

Где мальчик заснул знаменитый и бедный
нежнее, чем камни, и крепче, чем дети,
пошли мне, о Ты, на кресте убиенный,
надежду на близость пасхальной недели.

**В Алексин иль в Серпухов двинется если
какой-нибудь странник и после вернется,
к нам тайная весть донесется: «Воскресе!»
«Воистину!» — скажем. Так все обойдется.**

1983

ЦВЕТЕНИЙ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошел. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нем была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница это
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на нее смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нем завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав ее «неясной»:
окрест, а не на нас глядит ее душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже прострел, забрав себе права
глагола своего, не промахнулся — вырос
для цели забытья, ведь это — сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески,
и ветреницы хлад, и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очередность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала Ладыжинских черемух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья
не стала — все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля—
черемуха по всей округе расцвела.

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
и разум поврежден движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но — дрема, но — истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черемухи наитья?
Дыхание ее под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного события,
с чьим именем играть возбранено перу.

1983

НОЧЬ НА 30 АПРЕЛЯ

Брат-комната, где я была — не спрашивай.
Ведь лунный свет — уже не этот свет.
Не в Паршино хожу дорогой Паршинской,
а в те места, каким названья нет.

Там у земли все небесами отнято.
Допущенного в их разъятый свод
охватывает дрожь чужого опыта:
он — робкий гость своих посмертных снов.

Вблизи звезда сияет неотступная,
и нет значений мельче, чем звезда.
Смущенный зритель своего отсутствия
боится быть не нынче, а всегда.

Не хочет плоть живучая, лукавая
про вечность знать и просится домой.
Беда моя, любовь моя, луна моя,
дай дотянуть до бренности дневной.

Мне хочется простейшего какого-то
нравоученья вещи и числа:
вот это, дескать, лампа, это — комната.
Тридцатый день апреля: два часа.

Но ничему не верит ум испуганный
и малых величин не узнает.
Луна моя, зачем втесняешь в угол мой
свои пожитки: ночь и небосвод?

1983

СКОНЧАНИЕ ЧЕРЕМУХИ — 1

Тринадцатый с тобой я встретила восход.
В затылке тяжела твоих внушений залежь.
Но что тебе во мне, влиятельный цветок,
и не ошибся ль ты, что так меня терзаешь?

В твой задушевный яд — хлад зауми моей
влюбился и впился, и этому-то делу
покорно предаюсь подряд тринадцать дней
и мысль не укорю, что растеклась по древу.

Пришелец дверь мою не смог бы отворить,
принявши надых твой за супротивный бицепс.
И незачем входить! Здесь — круча и обрыв.
Пришелец, отступись! Обрыв и сердце,
сблизьтесь!

Черемуха, твою тринадцатую ночь
навряд ли я снесу. Мой ум тобою занят.
Былой приспешник мой, он мог бы мне помочь,
но весь ушел к тебе и грамоте не знает.

Чем прихожусь тебе, растение-нелюдим?
Округой округлясь, мои простерты руки.
Кто раболепным был урочищем твоим,
как я или овраг,— тот сведущ в этой муке.

Ты причиняешь боль, но не умеет боль
в овраге обитать, и вот она уходит.
Беспамятный объем, наполненный тобой,
я надобна тебе, как часть твоих угодий.

Благодарю тебя за странный мой удел —
быть контуром твоим, облекшим неизвестность,
подробность опустить, что — родом из людей,
и обитать в ночи, как местность и окрестность.

СКОНЧАНИЕ ЧЕРЕМУХИ — 2

Еще и обещанья не давала,
что расцветет, была дотла черна,
еще стояла у ее оврага
разлившейся Оки величина.

А я уже о будущем скучала
как о былом и говорила так:
на этот раз черемухи скончанья
я не снесу, Ладыжинский овраг.

Я не снесу, я боле не умею
сносить разлуку и глядеть вослед,
ссылая в бесконечную аллею
всего, что есть, любимый силуэт.

Она пришла — и сразу затворилось
объятие обоюдной западни.
Перемешалась выдохом взаимность,
их общий чад перенасытил дни.

Пятнадцать дней черемухову игу.
Мешает лбу расширенный зрачок.
И если вдруг из комнаты я выйду,
потупится, кто этот взор прочтет.

Дремотою круженья и качанья
не усыпить докучливой строки:
я не снесу черемухи скончанья —
и довода: тогда свое стерпи.

Я и терплю. Черемухи настоем
питаем пульс отверстого виска.
Она — мой бред. Но мы друг друга стоим:
и я — бредовый вымысел цветка.

Само решит творительное зелье,
какую волю навязать уму.
Но если он — безвольное изделие
насильных чар,— так больно почему?

Я не снесу черемухи скончанья,—
еще твержу, но и его снесла.
Сколь многих я пережила случайно.
Нет, знаю я: так говорить нельзя.

1983

СМЕРТЬ ФРАНЦУЗОВА

Вот было что со мной, что было не со мною:
черемуха всю ночь в горячке и бреду.
Сказала я стихам, что я от них сокрою
больной ее язык, пророчащий беду.

Красавице моей, терзаемой ознобом,
неможется давно, округа ей тесна.
Весь воздух небольшой удушливо настоян
на доводе, что жизнь — канун небытия.

Черемухи к утру стал разговор безумен.
Вдруг слышу: голоса судачат у окна.
— Эй,— говорю,— вы что? — Да вот,
Французов умер.
Веселый вроде был, а не допил вина.

Французов был маляр. Но он, определенно,
воспроизвел в себе бравурные черты
заблудшего в снегах пришельца жантильома,
побывшего в плену калужской простоты.

Товарищей его дразнило, что Французов
плодовому вину предпочитал коньяк.
Остаток коньяка плеснув себе в рассудок,
послали за вином: поминки как-никак.

Никто не горевал. Лишь Паршинская Маша
сказала мне потом: — Жалкую я о нем.
Все Пасхи, бедный, ждал. Твердил, что участь
наша
продлится в небесах,— и сжег себя вином.

Французов был всегда настроен супротивно.
Чужак и острослов, он вытеснен отсель.
Летит его душа вдоль слабого пунктира
поверх Калужских роц куда-нибудь в Марсель.

Увозят нищий гроб. Жена не захотела
приехать и простить покойнику грехи.
Черемуха моя еще не облетела.
Иду в ее овраг, не дописав стихи.

1983

ПАЧЁВСКИЙ МОЙ

— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль
занятым скушным называть апрель?
Все сущее, свой вид и род возмужив,
с утра в трудах, как дружная артель.

Изменник-ум твердит: «Весной я болен»,—
а сам здоров, и все ему смешно,
когда иду подглядывать за полем:
что за ночь в нем произошло-взошло.

Во всякий день — новехонький, почетный
гость маленький выходит из земли.
И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,
лишь рассветет — появится из мглы.

— Он что же, граф? Должно быть, из поляков?
— Нет, здешний он и мной за то любим,
что до ничтожных титулов не лаком,
хотя уж он-то — не простолюдин.

— Из столбовых дворян? — Вот это ближе.—
Так весел мой и непомерен смех:
не нагляжусь сквозь брызнувшие блики
на белый мой, на семицветный свет.

— Он, видите ли... не могу! — Да полно
смеяться вам. Пачёвский — кто такой?
— Изгой и вместе вседержитель поля,
он вхож и в небо. Он — Пачёвский мой.

— Но кто же он? Ваши слова окольны.
Не так уж здрав ваш бедный ум весной.
— Да вы-то кто? Зачем так бестолковы?
А вот и сам он — столб Пачёвский мой.

Так много раз, что сбились мы со счета,
мой промельк в поле он имел в виду.
Коль повелит — я поверну в Пачёво.
Пропустит если — в Паршино иду.

Особенно зимою, при метели,
люблю его заполучить привет
иль в час, когда две наших сирых тени
в союз печальный сводит лунный свет.

Чтоб вдруг не смыл меня прибой вселенной
(здесь крут обрыв, с которого легко
упасть в созвездья), мой Пачёвский верный
ниспослан мне, и время продлено.

Строки моей потатчик и попутчик,
к нему приникших пауз властелин,
он ждет меня, и бездна не получит
меня, покуда мы вдвоем стоим.

1983

* * *

Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме:
то темный день густел в редяющих темнотах.
Проснулась я в слезах с Державиным в уме,
в запутанных его и заспанных тенётах.

То ль это мысль была невидимых светил
и я поймала сон, ниспосланный кому-то?
То ль Пушкин нас сводил, то ль сам он так шутил,
то ль вспомнила о нем недалняя Калуга?

Любовь к нему и грусть влекли меня с холма.
Спешили петухи сообщничать иль спорить.
Вставала в небесах Державину хвала,
и целый день о нем мне предстояло помнить.

1983

ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на Паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?

Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.

1983

ЛУНЕ ОТ РЕВНИВЦА

Явилась, да не вся. Где пол твоей красы?
Но ломаной твоей полушки полулунной
ты мне не возвращай. Я — вор твоей казны,
сокрывшийся в лесах меж Тулой и Калугой.

Бессонницей моей тебя обобрала,
все золото твое в сусеках схоронившей,
и месяца ждала, чтоб клянчить серебра:
всегда он подавал моей ладони нищей.

Всё так. Но внове мне твой нынешний ущерб.
Как потрепал тебя соперник мой подлунный!
В апреля третий день за Паршино ушед,
чьей далее была вселенскою подругой?

У нас — село, у вас — селение свое.
Поселена везде, ты выбирать свободна.
Что вечности твоей ничтожность дня сего?
Наскучив быть всегда, пришла побыть сегодня?

Где шла твоя гульба в семнадцати ночах?
Не вздумай отвечать, что — в мирозданье где-то.
Я тоже в нем. Но в нем мой драгоценен час:
нет времени вникать в расплывчатость ответа.

Без помощи моей кто свел тебя на нет?
Не лги про тень земли, иль как там по науке.
Я не учена лгать и округлю твой свет,
чтоб стала ты полней, чем знает полнолуние.

Коль скоро у тебя другой какой-то есть
влюбленный ротозей и воздыхатель пылкий —
все возверну тебе! Мне щедрости не счесть.
Разгула моего будь скаредной копилкой.

Коль страждешь — пей до дна черничный сок зрачка
и приторность чернил, к тебе подобострастных.
Покуда я за край растраты не зашла,
востребуй бытия пленительный остаток.

Не поскупись — бери питанье от ума,
пославшего тебе свой животворный лучик.
Исчадие мое, тебя, моя луна,
какой наследный взор в дар от меня получит?

Кто в небо поглядит и примет за луну
измыслие мое, в нем не поняв нимало?
Осыплет простака мгновенное «Люблю!»,
которое в тебя всей жизнью врифмовала.

Заранее смешно, что смертному зрачку
дано через века разиню огорошить.
Не для того ль тебя я рыщу и — рашу,
как непомерный плод тщеславный огородник?

Когда найду, что ты невиданно кругла,—
за Паршино сошлю, в небесный свод заочный,
и ввысь не посмотрю из моего угла.
Прощай, моя луна! Будь вечной и всеобщей.

И веки притворю, чтобы никто не знал
о силе глаз, луну, словно слезу, исторгших.
Мой бесконечный взгляд все будет течь назад,
на землю, где давно иссяк его источник.

* * *

Зачем он ходит? Я люблю одна
быть у луны на службе обожания.
Одною мной растрочена луна.
Три дня назад она была большая.

Ее размер не мною был возвращен.
Мы свиделись — она была огромна.
Я неусыпным выпила зрачком
треть совершенно полного объема.

Я извела луну на пустяки.
Беспечен ум, когда безумны ноги.
Шесть километров вдоль одной строки:
бег-бред ночной по Паршинской дороге.

Вчера бочком вошла в мое окно.
Где часть ее — вдруг лучшая? Неужто
все это я? Не жег другой никто
ее всю ночь, не дожигал наутро.

Боюсь узнать в апреля первый день,
что станет с ее недавней статью.
Так изнуряет издали злодей
невинность черт к ним обращенной страстью.

Он только смотрит — в церкви, на балу.
Молитвенник иль веер упадает
из дрожи рук. Не дав им на полу
и миг побыть, ее жених страдает.

Он смотрит, смотрит — сквозь отверстие
стен,
в кисейный мир, за возбраненный полог.
В лик непорочный многознанья тень
привнесена. Что с ней — она не помнит.

Он смотрит. Как осунулось лицо.
И как худа. В нем — холодок свободы.
Вот жениху возвращено кольцо.
Все кон но. Ее везут на воды.

Оплáчу вкратце косвенный сюжет,
наскучив им. Он к делу не пригоден.
Я жду луну и завожу брегет.
Зачем ко мне он все-таки приходит?

— Кто к вам приходит? И брегет при чем?
— А вы-то кто? Вас нет, и не пристало
вам задавать вопросы. Кто прочел
заране то, чего не написала?

Придуман мной лишь этот оппонент.
Нет у меня загадок без разгадок.
Живой и часто плачущий предмет —
брегет — мне добрый подарил Рязанов.

Приходит же... не бил ли он собак?
Он пустомелит, я храню молчанье.
Но пес во мне, хоть принужден солгать,
загривок дыбит и таит рычанье.

О нет, не преступаю я границ
приличья, но разросшийся вокруг сердца
ветвистый самовластный организм
не переносит этого соседства.

Идет! Часов непрочный голосок
берет он в руки. Бедный мой брегетик!
Я надвигаю тучу на восток,
чтоб он луны хотя бы не заметил.

И падает, и гибнет мой брегет!
Луны моей сообщник и помощник,
он распевал всегда под лунный свет,
он был — как я, такой же полуночник.

Виновник так подавлен и смущен,
что я ему прощаю незадачу.

Удостоверюсь, что сосед ушел,
смеюсь над тем, как безутешно плачу.

В запасе есть не певчие часы.
Двенадцать ровно — и нисколько пеня.
И нет луны, хоть небеса ясны.
Как грубо шутит первый день апреля!

Пускаюсь в путь обычный. Ход планет
весь помещен над Паршинской дорогой.
В час пополуночи иду по ней,
строки вот этой спутник одинокий.

Вот здесь, при мне, живет мое «всегда».
В нем погостить при жизни — редкий случай.
Смотрю извне, как из небес звезда,
на сей свой миг, еще живой и сущий.

Так странен и торжествен этот путь,
как будто он принадлежит чему-то
запретному: дозволено взглянуть,
но велено не разгласить под утро.

Иду домой. Нимало нет луны.
А что ж герой бессвязного рассказа?
Здесь взгорбье есть. С него глаза длинные.
Гость с комнатой моею не расстался.

Вон мой огонь. Под ним — мои стихи.
Вон силуэт читателя ночного.
Он, значит, до какой дошел строки?
Двенадцать было. Стало полвторого.

Ау! Но вы обидеться могли
на мой ответ придвинутым планетам.
Вас занимают выдумки мои?
Но как смешно, что дело только в этом.

Простите мне! Стихи всегда приврут.
До тайн каких Вы ищете дознаться?
Расстанемся, мой простодушный друг,
в стихах — навек, а наяву — до завтра.

Семь грустных дней безлунью моему.
Брежет молчит. В природе — дождь и холод.
И так темно, так боязно уму.
А где сосед? Зачем он не приходит?

1983

* * *

В. Высоцкому

Эта смерть не моя есть ущерб и зачет
жизни кровно-моей, лбом упершейся в стену.
Но когда свои лампы Театр возожжет
и погасит — Трагедия выйдет на сцену.

Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис?
Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели.
Обреченных капризников тщетный каприз —
вжаться, вжиться в укромность — вина неужели?

Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет.
Я не помню из роли ни жеста, ни слова.
Но смеется суфлер, вседержитель судеб:
говори: всё я помню, я здесь, я готова.

Говорю: я готова. Я помню. Я здесь.
Сущ и слышим тот голос, что мне подыграет.
Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств
здраво мыслит один: умирающий Гамлет.

Донесется вослед: не с ума ли сошел
Тот, кто жизнь возлюбил да забыл про живучесть.
Дай, Театр, доиграть благородный сюжет,
бледноликий партер повергающий в ужас.

1983

* * *

Андрею Битову

Отселева за тридевять земель
кто окольцует вольное скитанье
ночного сна? Наш деревенский хмель
всегда грустит о море-окияне.

Немудрено. Не так уж мы бедны:
когда весны события утрясутся,
вокруг Тарусы явственно видны
отметины Нептунова трезубца.

Наш опыт старше младости земной.
Из чуд морских содеяны камня.
Глаз голубой над кружкой пивной
из дальних бездн глядит высокомерно.

Вселенная — не где-нибудь, вся — тут.
Что достается прочим зреньям, если
ночь напролет Юпитер и Сатурн
пекутся о занесшемся уезде.

Что им до нас? Они пришли не к нам.
Им недосуг разглядывать подробность.
Они всеуший видят океан
и волн всепоглощающих огромность.

Несметные проносятся валы.
Плавник одолевает время оно,
и голову подымет из воды
все то, что вскоре станет земноводно.

Лишь рассветет — приокской простоте
тритон заблудший попадет в сети.
След раковины в гробовой плите
уводит мысль куда-то дальше смерти.

Хоть здесь растет, нездешнюю тоской
клонима, многознающая ива.
Но этих мест владычицы морской
на этот раз не назову я имя.

1983

* * *

Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-Калужский,
и этот лютик золотушный,
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии внятные останки,
и как бы у ее изнанки
мы все нечаянно в гостях.

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдность
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.

Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы — в этом времени, мы — дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.

1983

* * *

Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен.
Он так и полагал, поскольку люто-свежий
к нам вечер шел с Оки. А все же это он
мне веточку принес черемухи расцветшей.

В Ладыжине, куда он по вино ходил,
чтобы ослабить мысль любви неразделенной,
черемухи цветок, пока еще один,
очнулся и глядел на белый свет зеленый.

За то и сорван был, что прежде всех расцвел,
с кем словно не в родстве, а в сдержанном
соседстве.

Зачем чужой любви сторонний, произвол
летает мимо нас, но уязвляет сердце?

Уехал Звёздкин вдруг, единственный этюд
не дописав. В сердцах порвал его — и ладно.
Он, говорят, — талант, а таковые — пьют.
Лишь гений здоров и трезв, хоть и не чужд
таланта.

Со Звёздкиным едва ль мы свидимся в Москве.
Как робкая душа погибшего этюда —
таинственный цветок белеет в темноте
и Звёздкину вослед еще глядит отсюда.

Власть веточки моей в ночи так велика,
так зрим печальный чад. И на исходе суток
содеян воздух весь энергией цветка,
и что мои слова, как не его поступок?

1983

* * *

Как много у маленькой музыки этой
завистников: все так и ждут, чтоб ушла.
Теснит ее сборища гомон несметный
и поедом ест приживалка нужда.

С ней в тяжбе о детях сокрытая мука —
виновной души неусыпная тень.
Ревнивая воля пугливого звука
дичится обобранных ею детей.

Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден
сообщников круг: только стол и огонь
настойный. При нем и собака тоскует,
мешает, затылок сует под ладонь.

Гнев маленькой музыки, загнанной в неги,
отлучки ее бытию не простит.
Опасен свободно гуляющий в небе
упущенный и неприкаянный стих.

Но где все обидчики музыки этой,
поправшей величье житейских музык?
Наивный соперник ее безответный,
укройся в укрытье, в изгой изыдь.

Для музыки этой возможных нашествий
возлюбленный путник пускается в путь.
Спроважен и малый ребенок, нашедший
цветок, на который не смею взглянуть.

О путнике милом заплакать попробуй,
попробуй цветка у себя не отнять —
изведаешь маленькой музыки робкой
острастку, и некому будет пенять.

Чтоб музыке было являться удобней,
в чужом я себя заточила дому.
Я так одинока среди сырых угодий,
как будто не есмь, а мерещусь уму.

Черемухе быстротекущей внимая,
особенно знаю, как жизнь непрочна.
Но маленькой музыке этого мало:
всех прочь прогнала, а сама не пришла.

1983

* * *

Люблю ночные промедленья
за озорство и благодать:
совсем не знать стихотворенья,
какое утром буду знать.

Где сиро обитают строки,
которым завтра улыбнусь,
когда на Паршинской дороге
себе прочту их наизусть?

Лишь рассветет — опять забрежу
в пустых полях зимы-весны.
К тому, как я бубню и брежу,
привыкли дважды три версты.

Внутри, на полпути мотива,
я встречу, как заведено,
мой столб, воспетый столь ретиво,
что и ему, и мне смешно.

В Пачёво ль милое задвинусь
иль столб миную напрямик,
мне сладостно ловить взаимность
всего, что вижу в этот миг.

Коль похваляю себя — дорога
довольна тоже, ей видней,
в чем смысл, еще до слов, до срока:
ведь все это на ней, о ней.

Коль вдруг запинкою терзаюсь,
ее подарок мне готов:
все сбудется! Незримый заяц
все ж есть в конце своих следов.

Дорога пролегла в природе
мудрей, чем проложили вы:
все то, при чьем была восходе,
заходит вдоль ее канвы.

Небес запретною загадкой
сопровождает этот путь.
И Сириус быстрозакатный
не может никуда свернуть.

Я в ней — строка, она — страница.
И мой, и надо мною ход —
все это к Паршину стремится,
потом за Паршино пойдет.

И даже если оплошаю,
она простит, в ней гнева нет.
В ночи хожу и вопрошаю,
а утром приношу ответ.

Рассудит алое-иссиня,
зачем я озидала тьму:
то ль плохо небо я спросила,
то ль мне ответ не по уму.

Быть может, выпадет мне милость:
равнины прояснится вид
и все, чему в ночи молилась,
усталый лоб благословит.

ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учен вину. Пьют: мамка, мамкин дядя
и бабкин дядя — Жоржик-истопник.
— А это что? — спросил, на книгу глядя.
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
из недр ее, коль песню запоет.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
Кромешность прятков. Лампа ждет меня.
Но что мне делать? Слушай: «Буря мглою...»
Теперь садись. Пиши: эм — а — эм — а.

Зачем все это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эм — а — эм — а.

Так мы сидим вдвоем на белом свете.
Я — с черной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитать: эм — а — эм — а.

Так утекают дни, с небес роняя
разнообразие еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная,
пленяет и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.
И кличет Белкой, хоть ни разу он
не виделся с моею тезкой рыжей:
здесь род ее прилежно истреблен.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка
не раз оплакал лютую их смерть.
Вообще наш люд настроен рукопашно,
хоть и живет смиренных далее средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав «Белка!»,
я резво, как одноименный зверь,
своей проворной подлости робея,
со стула — прыг и спряталась за дверь.

Значенье прятков сразу же постигший,
я этот взгляд вспомню в крайний час.
В щель поместился старший и простивший,
скорбь всех детей вобравший Пашкин глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный.
Вослед ему все воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
и с ними дактиль. Что там есть еще?

ШУМ ТИШИНЫ

Преодолима с Паршином разлука
мечтой ума и соучастьем ног.
Для ловли необщительного звука
искомого — я там держу силок.

Мне следовало в комнате остаться —
и в ней есть для добычи западня.
Но рознь была занятием пространства,
и мысль об этом увлекла меня.

Я шла туда, где разворот простора
наивелик. И вот он был каков:
замкнув меня, как сжатие острога,
сцепились интересы сквозняков.

Заокский воин поднял меч весенний.
Ответный норд призвал на помощь ост.
Вдобавок задувало из вселенной.
(Ужасней прочих этот ветер звезд.)

Не пропадать же в схватке исполинов!
Я — из людей, и отпустите прочь.
Но мелкий сброд незримых, неповинных
в делах ее — не занимает ночь.

С избытком мне хватало недознания.
Я просто шла, чтобы услышать звук,
я не бросалась в прорубь мироздания,
да зданье ли — весь этот бред вокруг?

Ни шевельнуться, нидохнуть — нет мочи.
Кто рядом был? Чьи мне слова слышны?
— Шум тишины — вот содержание ночи...
Шум тишины... — и вновь: шум тишины...

И только-то? За этим ли трофеем
я шла в разлад и разнобой весны,
в разъятый ад, проведанный Орфеем?
Как нежно он сказал: шум тишины...

Шум тишины стоял в открытом поле.
На воздух — воздух шел, и тьма на тьму.
Четыре сильных кругосветных воли
делили ночь по праву своему.

Я в дом вернулась. Ахнули соседи:
— Где были вы? Что там, где были вы?
— Шум тишины главенствует на свете.
Близ Паршина была. Там спать легли.

Бесмыслица, нескладица, мне — долго
любить тебя. Но веки тяжелы.
Шум тишины... сон подступает... только
шум тишины... шум только тишины...

* * *

Дорога на Паршино, дале — к Тарусе,
но я возвращаюсь вспять ветра и звезд.
Движенье мое прижилось в этом русле
длиною — туда и обратно — в шесть верст.

Шесть множим на столько, что ровно несметность
получим. И этот туманный итог
вернем очертаньям, составившим местность
в канун ее паводков и поволок.

Мой ход непрерывен, я — словно течение,
чей долг — подневольно влачиться вперед.
Небес близлежащих ночное значенье
мою протяженность питает и пьет.

Я — свойство дороги, черта и подробность.
Зачем сочинитель ее жития
все гонит и гонит мой робкий прообраз
в сюжет, что прочней и пространней, чем я?

Близ Паршина и поворота к Тарусе
откуда мне знать, сколько минуло лет?
Текущее вверх, в изначальное устье,
все странствие длится, а странника — нет.

1984

29-Й ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ

Тот лишний день, который нам дается,
как полагают люди, не к добру,—
но люди спят,— еще до дня, до солнца,
к добру иль нет, я этот день — беру.

Не сообщает сведений надземность,
но день — уж дан, и шесть часов ему.
Расклада високосного чрезмерность
я за продленье бытия приму.

Иду в тайник и средоточье мрака,
где в крайний час, когда рассвет незрим,
я дале всех от завтрашнего марта
и от всего, что следует за ним.

Я мешкаю в Ладыжинском овраге
и в домысле: расход моих чернил,
к нему пристрастных, не строку бумаге,
а вклад в рельеф округе причинил.

К метафорам усмешлив мой избранник.
Играть со мною недосуг ему.
Округлый склон оврагом — рвано ранен.
Он придан месту, словно мысль уму.

Замечу: не́ из-за моих писаний
он знаменит. Всеопытный народ
насквозь торил путь простодушный самый
отсель в Ладыгу и наоборот.

Сердешный мой, неуголимый гений!
В своей тоске, но по твоим следам,
влекусь тропею вековых хождений,
и нет другой, чтоб разминуться нам.

От вас, овраг осиливших с котомкой,
услышала, при быстрой влаге глаз:
— Мы все читали твой стишок.— Который?
— Да твой стишок, там про овраг, про нас.

Чем и горжусь. Но не в самом овраге.
Паденья миг меня доставит вниз.
Эй, эй! Помене гордости и влаги.
Посуше будь, все то, что меж ресниц.

Люблю оврага образ и устройство.
Сорвемся с кручи, вольная строка!
Внизу — помедлим. Восходить — не просто.
Подумаем на темном дне стиха.

Нам повезло, что не был лоб расшиблен
о дерево. Он пригодится нам.
Зрачок — приметлив, хладен, не расширен.
Вверху — светает. Точка — тоже там.

Я шла в овраг. Давно ли это было?
До этих слов, до солнца и до дня.
Я выбираюсь. На краю обрыва
готовый день стоит и ждет меня.

Успею ль до полуночного часа
узнать: чем заплачу календарю
за лишний день? За непомерность счастья?
Я все это беру? Иль отдаю?

ПОСВЯЩЕНИЕ

Все этот голос, этот голос странный.
Сама не знаю: праведен ли трюк —
так управлять трудолюбивой раной
(она не любит втайне этот труд),
и видеть бледность девочки румяной,
и брать из рук цветы и трепет рук,
и разбирать их в старомодной ванной, —
на этот раз ты сетовал, мой друг,
что, завладев всей данной нам водою,
плыла сирень купальщицей младою.

Взойти на сцену — выйти из тетради.
Но я сирень без памяти люблю,
тем более — в Санкт-белонощном граде
и Невского проспекта на углу
с той улицей, чье утаю название:
в которой я гостинице жила —
зачем вам знать? Я говорю не с вами,
а с тем, кого я на углу ждала.

Ждать на углу? Возможно ли? О, доле
ждала бы я, но он приходит в срок —
иначе б линий, важных для ладони,
истерся смысл и срок давно истёк.

Не любит он туманных посвящений,
и я уступку сделаю молве,
чтоб следопыту не ходить с ищейкой
вдоль этих строк, что приведут к Неве.

Речь — о любви. Какое же герою
мне имя дать? Вот наименьший риск:
чем нарекать, я попросту не скрою
(не от него ж скрывать), что он — Борис.

О поводырь моей повадки робкой!
Как больно, что раздвоены мосты.
В ночи — пусть самой белой и короткой —
вот я и вот Нева, а где же ты?

Глаз, захворав, дичится и боится
заплакать. Мост — раз-ъ-единен. Прощай.
На острове Васильевском больница
сто лет стоит. Ее сосед — причал.

Скажу заране: в байковом наряде
я приживусь к больничному двору
и никуда не выйду из тетради,
которую тебе, мой друг, дарю.

Взойти на сцену? Что это за вздор?
В окно смотрю я на больничный двор.

1984

* * *

Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.
Это только снаружи больница скушна, непреклонна.
А внутри — очень много событий, занятий и чувств.
И больные гуляют, держась за перила балкона.

Одиночество боли и общее шарканье ног
вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.
Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:
санитар побежал за напарником, бросив каталку.

Столь один — он, пожалуй, еще никогда не бывал.
Сочиняй, починай — все сбиваемся в робкую стаю.
Даже хладный подвал, где он в этой ночи ночевал,
кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.

Но зато, может быть, никогда он так не был любим.
Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.
Соучастье любви на мгновенье сгустилось над ним.
Это ластились к тайне живых боязливые души.

Все свидетели скрытным себя осенили крестом.
За оградой — не знаю, а здесь нездоровый упадок
атеизма заметен. Всем хочется над потолком
вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.

Две не равных вершины вздымали покров простыни.
Вдосталь, мил-человек, ты небось походил по Расее.
Натрудила она две воздетые к небу ступни.
Что же делать, прощай. Не твое это, брат, воскресенье.

Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:
«Дево, радуйся!» Я — не умею припомнить акафист.
Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.

* * *

Был вход возбранен. Я не знала о том и вошла.
Я дверью ошиблась. Я шла не сюда, не за этим.
Хоть эта ошибка была велика и важна,
никчемности лишней за дверью никто не заметил.

Для бездны не внове, что вхожи в нее пустяки:
без них был бы мелок ее умозрительный омут.
Но бездн охранитель мне вход возбраняет в стихи:
снедают меня и никак написать не могут.

Но смилуйся! Знаю: там воля свершалась Твоя.
А я заблудилась в сплошной белизне коридора.
Тому человеку послала я пульс бытия,
отвергнутый им как помеха докучного вздора.

Он словно очнулся от жизни, случившейся с ним
для скромных невзгод, для страданий
привычно-родимых.
Ему в этот миг был объявлен пронзительный смысл
недавних бессмыслиц — о, сколь драгоценных,
сколь дивных!

Зеницу предсмертья спасали и длили врачи,
наильную жизнь в безучастное тело вонзая.
В обмен на сознание — знание вступало в зрачки.
Я видела знанье, его содержанья не зная.

Какая-то дача, дремотный гамак и трава,
и голос влюбленный: «Сыночек, вот это — ромашка»,
и далее — свет. Но мутилась моя голова
от вида цветка и от мощи его аромата.

Чужое мгновенье себе я взяла и снесла.
Кто жив — тот неопытен. Темен мой взор виноватый.
Увидевший то, что до времени видеть нельзя,
страшись и молчи, о, хотя бы молчи, соглядатай.

* * *

Когда жалела я Бориса,
а он меня в больницу вез,
стихотворение «Больница»
в глазах стояло вместо слез.

И думалось: уж коль поэта
мы сами отпустили в смерть
и как-то вытерпели это —
все остальное можно снести.

И от минуты многотрудной
как бы рассудок ни устал —
ему одной достанет чудной
строки про перстень и футляр.

Так ею любовалась память,
как будто это мой алмаз,
готовый в черный бархат прянуть,
с меня востребуют сейчас.

Не тут-то было! Лишь от улиц
меня отъединил забор,
жизнь удивленная очнулась,
воззрелась на больничный двор.

Двор ей понравился. Не меньше
ей нравились кровать, и суп,
столь вкусный, и больных насмешки
над тем, как бледен он и скуп.

Опробовав свою сохранность,
жизнь стала складывать слова
о том, что во дворе — о радость! —
два возлежат чугунных льва.

Львы одичавшие — привыкли,
что кто-то к ним щекою льнет.

Податливые их загривки
клялись в ответном чувстве львов.

За все черты, чуть-чуть иные,
чем принято, за не вполне
разумный вид — врачи, больные —
все были ласковы ко мне.

Профессор, коей все боялись,
войдет со свитой, скажет: «Ну-с,
как ваши львы?» — и все смеялись,
что я боюсь и не смеюсь.

Все люди мне казались правы,
я вникла в судьбы, в имена,
и стук ужасной их забавы
в саду — не раздражал меня.

Я видела упадок плоти
и грубо поврежденный дух,
но помышляла о субботе,
когда родные к ним придут.

Пакеты с вредоносно-сильной
едой, объятая на скамье,—
весь этот праздник некрасивый
был близок и понятен мне.

Как будто ничего вселенной
не обещала, не должна —
в алмазик бытия бесценный
вцепилась жадная душа.

Все ярче над небесным краем
двух зорь единый пламень рос.
— Неужто все еще играет
со львами? — слышался вопрос.

Как напоследок жизнь играла,
смотрел суровый окуляр.
Но это не опровергало
строки про перстень и футляр.

НОЧЬ НА 6 ИЮНЯ

Перечит дреме въедливая дрель:
то ль блещет шпиль, то ль бредит голос птицы.
Ах, это ты, всенощный белый день,
оспоривший снотворный шприц больницы.

Простертая для здоровой простоты
пологость, упокоенная на ночь,
разорвана, как невские мосты,—
как я люблю их с фонарями навзничь.

Меж вздыбленных разъятых половин
сознания — что уплывет в далекость?
Какой смотритель утром повелит
с виском сложить висок и с локтем локоть?

Вдруг позабудут заново свести
в простую схему рознь примет никчемных,
что под щекой и локоном сестры
уснувшей — знает назубок учебник?

Раздвоен мозг: былой и новый свет,
совпав, его расторгли полушарья.
Чтоб возлежать, у лежебоки нет
ни знания, как спать, ни прилежанья.

И вдруг смеюсь: как повод прост, как мал —
не спать, пенять струне неумолимой:
зачем поет! А это пел комар
иль незнакомец в маске комариной.

Я вспомню, вспомню... вот сейчас, сейчас...
Как это было? Судно вдаль ведомо
попутным ветром... в точку уменьшась,
забившись в щель, достичь родного дома...
Несчастливая! Каких лекарств, мещанств
наелась я, чтоб не узнать Гвидона?

Мой князь, то белена и курослеп,
подслеповатость и безумье бденья.
Пожалуй в рознь соседних королевств!
Там — общий пир, там чей-то день рожденья.

Скажи: что конь? что тот, кто на коне?
На месте ли, пока держу их в книге?
Я сплю. Но гений розы на окне
грустит о том, чей день рожденья ныне.

У всех — июнь. У розы — май и жар.
И посылает мстительность метафор
в окно мое неутолимость жал:
пусть вволю пьют из кровеносных амфор.

1984

* * *

Какому ни предамся краю
для ловли дум, для траты дней —
всегда в одну игру играю,
и много мне веселья в ней.

Я знаю: скрыта шаловливость
в природе и в уме вещей.
Лишь недогадливый ленивец
не зван соотноситься с ней.

Люблю я всякого предмета
притворно-благонравный вид.
Как он ведет себя примерно,
как упоительно хитрит!

Так быстрый взор смолянки нежной
из-под опущенных ресниц
сверкнет — и старец многогрешный
грудь в орденах перекрестит.

Как все ребячливо на свете!
Все вещества и существа,
как в угол вдвинутые дети,
понуро жаждут озорства.

Заметят, что на них воззрилась
любовь — восторгов и щедрот
не счесть! И бытия взаимность —
сродни щенку иль сам щенок.

Совсем я сбилась с панталыку!
Рука моя иль чья-нибудь
пускай потреплет по затылку
меня, чтоб мысль ему вернуть.

Не образумив мой загривок,
вид из окна — вошел в окно,
и тварей утвари игрой
его вторженье развлекло.

Того оспорю неужели,
чье имя губы утаят?
От мысли станет стих тяжеле,
пусть остается глуповат.

Пусть будет вовсе глуп и волен.
Ко мне утратив интерес,
рассудок белой ночью болен.
Что делать? Обойдемся без.

Начнем: мне том в больницу прислан.
Поскольку принято капризам
возлегших на ее кровать
подобострастно потакать,
по усмотренью доброты
ему сопутствуют цветы.

Один в палате обыватель:
сам сочинит и сам прочтет.
От сочинителя читатель
спешит узнать: разгадка в чем?

Скажу ему, во что играю.
Я том заветный открываю,
смеюсь и подношу цветок
стихотворению «Цветок».

О, сколько раз все это было:
и там, где в милый мне овраг
я за черемухой ходила
или ходила просто так,

и в робкой роще подмосковной,
и на холмах вблизи Оки —
наильный, мною не искомый,
накрапывал пунктир строки.

То мой, то данный мне читальней,
то снятый с полки у друзей,

брала я том для страсти тайной,
для прочной прихоти моей.

Подснежники, и медуницы,
и все, что им вослед растет,
привыкли соединять страницы
с произрастаньем милых строк.

В материальности материй
не сведущий — один цветок
мертворожденность иммортелей
непринужденно превозмог.

Мы знаем, что в лесу иль в поле,
когда — не знаем, он возрос.
Но сколько выросших в неволе
ему я посвятила роз.

Я разоряла их багрянность,
жалуючи, рукой своей.
Когда мороз — какая радость
сказать: «Возьми ее скорей».

Так в этом мире беззащитном,
на трагедийных берегах,
моим обмолвкам и ошибкам
я предаюсь с цветком в руках.

И рада я, что в стольких книгах
останутся мои цветы,
что я повинна только в играх,
что не черны мои черты,

что розу не отдавший вазе,
еще не сущий аноним
продлит неутолимость связи
того цветка с цветком иным.

За это — столько упоений,
и две зари в одном окне,
и весел тот, чей бодрый гений
всегда был милостив ко мне.

1984

* * *

Олегу Грушникову

Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях.
Тот пробел, где была, все собой обволок.
Этот бледный, как обморок, выдумка-город —
не изделие Петрово, а бредни болот.

Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела
ускользнул из гранитной своей чешуи?
Это — бегство души из обузного тела
вдоль воздетых мостов, вдоль колонн тишины.

Если нет его рядом — мне ведомо, где он.
Он тайком на свидание с теми спешит,
чьим дыханием весь его воздух содеян,
чей удел многоскорбен, а гений смешлив.

Он без них — убиенного рыцаря латы.
Просто благовоспитан, не то бы давно
бросил оземь все то, что поднимают атланты,
и зарю заодно, чтобы стало темно.

Так и сделал бы, если б надежды и вести
не имел, что, когда разбредется наш сброд,
все они соберутся в условленном месте.
Город знает про сговор и тоже придет.

Он всегда только их оставался владеньем,
к нам был каменно замкнут иль вовсе не знал.
Раболепно музейные туфли наденем,
но учтивый хозяин нас в гости не звал.

Ну, а те, кто званы и желанны, лишь ныне
отзовутся. Отверстая арка их ждет.
Вот уж в сборе они, и в тревоге: меж ними
нет кого-то. Он позже придет, но придет.

Если ж нет — это белые ночи всего лишь,
штучки близкого севера, блажь выпускниц.
Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж,
где ни спишь — из отлучки своей отпросись.

Как он юн! И вернули ему телефоны
обожанья, признанья и дружбы свои.
Столь беспечному — свидетелься будет легко ли
с той, посмевшей проведать его хрустали?

Что проведать? Предчувствие медлит с ответом.
Пусть стоят на мосту бесконечного дня,
где не вовсе потупилась пред человеком,
хоть четырежды сломлена воля коня.

Все сошлись. Совпаденье счастливое длится:
каждый молод, наряжен, любим, знаменит.
Но зачем так печальны их чудные лица?
Миновало давно то, что им предстоит.

Всяк из них бесподобен. Но кто так подробно
черной оспой извел в наших скудных чертах
робкий знак подражанья, попытку подобья,
чтоб остаток лица было страшно читать?

Все же стоит вчитаться в безбуквие книги.
Ее тайнопись кто-то не дочиста стер.
И дрожат над умом обездоленным нимбы,
и не вырван из глаз человеческий взор.

Это — те, чтобы нас упасти от безумья,
не обмолвились словом, не подняли глаз.
Одинокие их силуэты связуя,
то ли страсть, то ли мысль, то ли чайка неслась.

Вот один, вот другой размыкается скрежет.
Им пора уходить. Мы останемся здесь.
Кто так смел, что мосты эти надвое режет —
для удобства судов, для разрыва сердец?

Этот город, к высокой допущенный встрече,
не сумел ее снести и помешан вполне,
словно тот, чьи больные и дерзкие речи
снизошел покарать властелин на коне.

Что же городу делать? Очнулся — и строен,
сострадания просит, а делает вид,
что спокоен и лишь восхищенья достоин.
Но с такую осанкою — он устоит.

Чужестранец, ревнитель пера и блокнота,
записал о дворце, что прекрасен дворец.
Утаим от него, что заботливый кто-то
драгоценность унес и оставил ларец.

Жизнь — живей и понятней, чем вечная слава.
Огибая величье, туда побреду,
где в пруду, на окраине Летнего сада,
рыба важно живет у детей на виду.

Милый город, какая огромная рыба!
Подплыла и глядит, а зеваки ушли.
Не грусти! Не отсутствует то, что незримо.
Ты и есть достоверность бессмертья души.

Но как странно взглянул на меня незнакомец!
Несомненно: он видел, что было в ночи,
наглядеться не мог, ненаглядность запомнил —
и усвоил... Но город мне шепчет: молчи!

* * *

Александр Блоку

Бессмертьем душу обольщая,
все остальное отстранив,
какая белая, большая
в окне больничном ночь стоит.

Все в сборе: муть окраин, гавань,
вздыхнувшая морская близь,
и грезит о герое главном
собрание действующих лиц.

Поймем ли то, что разыграют,
покуда будет ночь свежень?
Из умолчаний и загадок
составлен роковой сюжет.

Тревожить имени не стану,
чей первый и последний слог
непроницаемую тайну
безукоризненно облек.

Все сказано — и все сокрыто.
Совсем прозрачно — и темно.
Чем больше имя знаменито,
тем неразгаданней оно.

А это, от чьего наитья
туманно в сердце молодом,—
тайник, запретный для открытья,
замкнувший створки медальон.

Когда смотрел в окно вагона
на вспышки засух торфяных,
он знал, как грозно и огромно
предвестье бед, и жаждал их.

Зачем? Непостижимость таинств,
которые он взял с собой,
пусть называет чужестранец
Россией, фатумом, судьбой.

Что видел он за мглой, за гарью?
Каким был светом упоен?
Быть может, бытия за гранью
мы в этом что-нибудь поймем.

Все прозорливее, чем гений.
Не сведущ в здравомыслѣ зла,
провидит он лишь высь трагедий.
Мы видим, как их суть низка.

Чего он ожидал от века,
где всё — надрыв и всё — навзрыд?
Не снесший пошлости ответа,
так бледен, что уже незрим.

Искавший мук, одну лишь муку:
не петь — поющий не учел.
Вослед замученному звуку
он целомудренно ушел.

Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,
пал кротко в лютые объятья,
своих убийц благословив.

Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Все приживается на свете,
и лишь поэт уходит в срок.

Одно такое у природы
лицо. И остается нам
смотреть, как белой ночи розы
всѣ падают к его ногам.

СТЕНА

Вид из окна: кирпичная стена.
Строки или палаты посетитель
стены моей пугается сперва.
Стена и взор, проснитесь и сойдитесь! —
я говорю, хоть мало я спала,
под утро неусыпностью пресытаться.

Двух розных зорь неуголима страсть,
и ночь ее обходит стороною.
Пусть вам смешно, но такова же связь
меж мною и кирпичною стеною.
Больничною диковинкою став,
я не остерегаюсь быть смешною.

Стена моя, все трудишься, корпишь
для цели хоть полезной, но не новой.
Скажи, какую ныне окропишь
мою бумагу мыслью пустяковой?
Как я люблю твой молодой кирпич
за тайный смысл его средневековый.

Стене присущ былых времен акцент.
Пред-родствен ей высокородный замок.
Вот я сажу: вельможа и аскет,
стены моей заносчивый хозяин.
Хочу об этом поболтать — но с кем?
Входил доцент, но он суров и занят.

Еще и тем любезна мне стена,
что четко окорачивает зренья.
Иначе мысль пространна, не стройна,
как пуха тополиного паренья.
А так — в ее вперяюсь письма
и списываю с них стихотворенья.

Но если встать с кровати, сесть левой,
сидеть всю ночь и усидеть подоле,
я вижу, как усердые тополя
мне шлет моих же помыслов подобье,
и слышу близкий голос кораблей,
проведавший больничное подворье.

Стена — ревнива: ни щедрот, ни льгот.
Мгновенье — и ощерятся бойницы.
Она мне не показывает львов,
сто лет лежащих около больницы.
Чтоб мне не видеть их курчавых лбов,
встает меж нами с выраженьем львицы.

Тут наш разлад. Я этих львов люблю.
Всех, кто не лев, пускай берут завидки.
Иду ко львам, верней — ко льву и льву,
и глажу их чугунные загривки.
Потом стене подобострастно лгу,
что к ним ходила только из-за рифмы.

В том главное значение стены,
что скрыт за нею город сумасходный.
Он близко — только руку протяни.
Но есть препона совладать с охотой
иметь. Не возымей, а сотвори
все надобное, властелин свободный.

Все то, что взять могу и не беру:
дворцы разъединивший мост Дворцовый
(и Меншиков опять не ко двору),
и Летний сад, и, с нежностью особой,
всех львов моих,— я отдаю Петру.
Пусть наведет порядок образцовый.

Потусторонний (не совсем иной —
застенный) мир меня ввергает в ужас.
Сегодня я прощаюсь со стеной,
перехожу из вымысла в насущность.
Стена твердит, что это бред ночной,—
не ей бы говорить, не мне бы слушать.

Здесь измышленья, книги и цветы
со мной следили дня и ночи смену
(с трудом — за неимением темноты).
Стена, прощай. Поднять глаза не смею.
Преемник мой, как равнодушно ты,
как слепо будешь видеть эту стену.

1984

* * *

Чудовищный и призрачный курорт —
улада для заезжих чужестранцев.
Их привечает пристальный урод
(знать, больше нет благообразных старцев),
и так порочен этот вождь ворот,
что страшно за рассеянных скитальцев.
Простят ли мне Кирилл и Ферапонт,
что числилась я в списке постояльцев?

Я — не виновна. Произволен блат:
стихолобивы дивы «Интуриста».
Одни лишь финны, гости финских блат,
не ощущают никакого риска,
когда красотка поднимает взгляд,
в котором хлад стоит и ад творится.
Но я не вхожа в этот хладный ад:
всегда моя потуплена зеница.

Вид из окна: сосна и «мерседес».
Пир под сосной мои пресытил уши.
Официант, рожденный для злодейств,
погрязнуть должен в мелочи и в чуши.
Отечество, ты приютилось здесь
подобострастно и как будто вчуже.
Но разнобой моих ночных сердец
всегда тебя подозревает в чуде.

Ни разу я не выходила прочь
из комнаты. И предается думе
прислуга (вся в накрапе зримых порч):
от бедности моей или от дури?
Пейзаж усилен тем, что вдвинут «порш»
в невидимые мне залив и дюны.
И, кроме мысли, никаких нет почт,
чтоб грусть моя достигла тети Дюни.

Чтоб городок Кириллов позабыть,
отправлюсь-ка проведать жизнь иную.
Дежурной взгляд не зряч, но остро-быстр
О, я в снэк-бар всего лишь, не в пивную.

Ликуют финны. Рада я за них.
Как славно пьют, как весело одеты.
Пускай себе! Ведь это — их залив.
А я — подкидыш, сдуру взятый в дети.

С улыбкой благодетели следят:
смотри, коль слово лишнее проронишь.
Но не сидеть же при гостях в слезах?
Так осмелел, что пьет коньяк приемыш.

Финн спросил: «Where are you from, madame?»
Приятно поболтать с негоциантом.
— Оттуда я, где черт нас догадал
произрасти с умом, да и с талантом.

Он поражен: — С талантом и умом?
И этих свойств моя не ценит фирма?
Не перейти ль мне в их торговый дом?
— Спасибо, нет,— благодарю я финна.

Мне повезло: никто не внял словам
того, чья слава множится и крепнет:
ни финн, ни бармен — гордый внук славян,
ну, а тунгусов не пускают в кемпинг.

Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь,
где зарасту бессмертной лебедею.
Кириллов же и ближний Белозерск
сокроются под вечную водою.

— Что ж, тете Дюне — девяностый год,—
финн речь заводит об архитектуре,—
а правнуков ее большой народ
мечтает лишь о финском гарнитуре.

* Откуда вы родом, мадам? (англ.)

Тут я смеюсь. Мой собеседник рад.
Он говорит, что поставляет мебель
в столь знаменитый близлежащий град,
где прежде он за недосугом не был.

Когда б не он — кто бы наладил связь
бессвязных дум? Уж если жить в мотеле
причудливом — то лучше жить смеясь,
не то рехнуться можно в самом деле.

В снэк-баре — смех, толкучка, красота,
и я люблюсь финкой молодою:
уж так свежа (хоть несколько толста).
Я выхожу, иду к чужому дому,
и молвят Ферапонтовы уста
над бывшей и грядущею юдолюю:
«Земля была безвидна и пуста,
и божий дух носился над водою».

* * *

Такая пала на́ душу метель:
ослепли в ней и заплутали кони.
Я в эlegantный въехала мотель,
где и сижу в шезлонге на балконе.

Вот так-то, брат Ладыжинский овраг.
Я знаю силу твоего уик-энда.
Но здесь такой у барменов аврал,—
прости, что говорю интеллигентно.

Въезжает в зренье новый лимузин.
Всяк флаг охоч до нашего простора.
Отечество юлит и лебезит:
Алешки — ладно, но и Льва Толстого.

О бедное отечество, прости!
Не все ж гордиться и грозить чумою.
Ты приворотным зельем обольсти
гостей желанных — пусть тряхнут мошною.

С чего я начала? Шезлонг? Лонгшез?
Как ни скажи — а все сидеть тоскливо.
Но сколько финнов! Уж не все ли здесь,
где нет иль мало Финского залива?

Не то что он отсутствует совсем,
но обитает за глухой оградой.
Мне нравится таинственный сосед,
невидимый, но свежий и отрадный.

Его привет щекою и плечом
приму — и вновь затворничаем оба.
Но — Финский он. Я — вовсе ни при чем,
хоть почитатель финского народа.

Не мне судить: повсюду и всегда
иль только здесь, где кемпинг и суббота,
присуща людям яркая черта
той красоты, когда душа свободна.

Да и не так уж скрытен их язык.
Коль придан Вакху некий бог обратный,
они весь день кричат ему: «Изыды!» —
не размыкая рюмок и объятий.

Но и моя вдруг засверкала жизнь.
Содержат трех медведиц при мотеле.
Невольно стала с ними я дружить,
на что туристы с радостью глядели.

Поэт. Медведь. Все-детское «Ура!».
Мы шествуем с медведицей моею.
Не обессудь, великая страна,
тебя я прославляю, как умею.

Какой успех! Какая благодать!
Аттракционом и смешным, и редким
могли бы мы валюту добывать
столь нужную — да возбранил директор.

Что делать дале? Я живу легко.
Событий — нет. Занятия — невинны.
Но в баре, глянув на мое лицо,
вдруг на мгновенье умолкают финны.

* * *

Взамен элегий — шуточки, сарказмы.
Слог не по мне, и всё здесь не по мне.
Душа и местность не живут в согласье.
Что делаю я в этой стороне?

Как что? Очнись! Ты родом не из финнов,
не из дельфинов. О язык-болтун!
Зачем дельфинов помянул безвинных,
в чей ум при мне вникал глупец Батум?

Прости, прости, упасший Ариона,
да и меня — летящую во сне
во мгле Красногвардейского района
в первопрестольном городе Москве.

Вот, объясняю, родом я откуда.
Но сброд мотеля смотрит на меня
так, словно упомянутое чудо —
и впрямь моя недалняя родня.

Немудрено: туристы да прислуга,
и развлечения их невелики.
А тут — волною о скалу плеснуло:
в диковинку на суше плавники.

Запретный блеск чужого ширпотреба
приелся пресным лицам россиян.
— Забудь все это! — кроткого привета
раздался всплеск, и образ просиял.

Отбор довел до совершенства лица:
лишь рознь пороков оживляет их.
— Забудь! Оставь! — упрашивал и длился
печальный звук, но изнемог и стих.

Я шла на зов, бар по пути проведая.
Вдруг как-то мой возвысился удел.
Зрачком Петра я глянула на шведов.
За стойкой плут — и тот похолодел.

Он — сложно-скрытен, в меру раболепен,
причастен тайне, неизвестной нам.
— Оставь! Иди! — опять забрезжил лепет.
Иду. Но как прозрачно-скучен хам.

Как беззащитно уязвлен обидой.
— Иди! — неслось.— Скорей иди сюда! —
Вот этих, с тем, что в них, автомобилей
напрасно жаждать — лютая судьба.

Мне белоснежных шведов стало жалко:
смущен, повержен, ранен в ногу Карл.
Вдруг — тишина. Но я уже бежала:
окликни вновь, коль прежде окликал!

Вчера писала я, что на запоре
к заливу дверь. Слух этот справедлив,
но лишь отчасти: есть дыра в заборе.
— Не стой как пень,— мне указал залив.

Я засмеялась: к своему имению
финн не пролез. А я прошла. Вдали,
за длительной серебряною мелью,
стояло небо, плыли корабли.

Я шла водой и слышала взаимность
воды, судьбы, туманных берегов.
И как Петрова вспылчивая милость
явился и сокрылся Петергоф.

С тех пор меня не видывала суша.
Воспетый плут вернуться завлекал.
В мотеле всем народам стало скушно,
но полегчало мокрым плавникам.

ПОСТОЙ

Не полюбить бы этот дом чужой,
где звук чужой пеняет без утайки
пришельцу, что еще он не ушел:
де, странник должен странствовать, не так ли?

Иль полюбить чужие дом и звук:
уменьшиться, привадиться, втесаться,
стать приживалой сущего вокруг,
свое — прогнать и при чужом остаться?

Вокруг — весны разор и красота,
сырой песок, ведущий в Териоки.
Жилец корпит и пишет: та-та-та,—
диктант насильный заточая в строки.

Всю ночь он слышит сильный звук чужой:
то измышленья прежних постояльцев,
пока в окне неистощим ожог,
снуют, отбившись от умов и пальцев.

Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив
забыт иль за ненадобностью брошен?
Непосвященный слушатель молчит.
Он дик, смешон, давно ль он ел — не спрошен.

Длиннее звук, чем маленькая тьма.
Затворник болен, но ему не внове
входить в чужие звуки и дома
для исполненья их капризной воли.

Он раболепен и душой кривит.
Составленный вчерне из многоточья,
к утру готов бесформенный клавир
и в стройные преобразован ключья.

Покинет гость чужие дом и звук,
чтоб никогда сюда не возвращаться
и тосковать о распре музык двух.
Где — он не скажет. Где-то возле счастья.

1985

* * *

Всех обожаний бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья —
потупившись, не смея быть при Вас,—
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.

При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония — избранников занятье.
Туманна окончательность конца.

1985

ДОМ С БАШНЕЙ

Луны еще не вдосталь, а заря ведь
уже сошла — откуда взялся свет?
Сеть гамака ужасная зияет.
Ах, это май: о тьме и речи нет.

Дом выпранный на берегу залива.
В саду — гамак. Все упустила сеть,
но не пуста: игриво и лениво
в ней дней былых полеживает смерть.

Бывало, в ней покачивалась дрема
и упал том Стриндберга из рук.
Но я о доме. Описание дома
нельзя построить наобум и вдруг.

Проект: осанку вычурного замка
венчают башни шпиль и витражи.
Красавица была его хозяйка.
— Мой ангел, пожелай и прикажи.

Поверх кустов сирени и малины —
балкон с пространным видом на залив.
Всё гости, фейерверки, именины.
В тот майский день молился ль кто за них?

Сооруженье: вместе дом и остров
для мыслящих гребцов средь моря зла.
Здесь именитый возвещал философ
(он и поэт): — Так больше жить нельзя!

Какие ночи были здесь! Однако
хозяев нет. Быть дома ночью — вздор.
Пора бы знать: «Бродячая собака»
лишь поздним утром их отпустит в дом.

Замечу: знаменитого подвала
таинственная гостя лишь одна
навряд ли здесь хотя бы раз бывала,
иль раз была — но боле никогда.

Покой и прелесть утреннего часа.
Красотка финка самовар внесла.
И гимназист, отрехшийся от чая,
всех пристыдил: — Так больше жить нельзя!

В устройстве дома — вольного абсурда
черты отрадны. Запределен бред
предположенья: вдруг уйти отсюда.
Зачем? А дом? А башня? А крокет?

Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
Коса, румянец, хрупкость, кисея —
и голосок, отвлекшийся от пенья,
расплакался: — Так больше жить нельзя!

Влюблялись, всё смеялись и стрелялись
нередко, страстно ждали новостей.
Дом с башней ныне — робкий постоялец,
чужак изгой на родине своей.

Нет никого. Ужель и тот покойник —
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
к сосне прибивший ржавый рукомойник,
заткнувший щели в окнах и дверях?

Хоть не темнеет, а светает рано.
Лет дому сколько? Менее, чем сто.
Какая жизнь в нем сильная играла!
Где это все? Да было ль это все?

Я полюбила дом, и водостока
резной узор, и, более всего,
со шпилем башню и цветные стекла.
Каков мой цвет сквозь каждое стекло?

Мне кажется, и дом меня приметил.
Войду в залив, на камне постою.
Дом снова жив, одушевлен и светел.
Я вижу дом, гостей, детей, семью.

Из кухни в погреб золотистой финки
так весел промельк! Как она мила!
И нет беды печальней детской свинки,
всех ужаснувшей,— да и та прошла.

Так я играю с домом и заливом.
Я занята лишь этим пустыком.
Над их ко мне пристрастием взаимным
смеется кто-то за цветным стеклом.

Как все сошлось! Та самая погода
и тот же тост: — Так больше жить нельзя! —
Всего лишь май двенадцатого года:
ждут Сапунова к ужину не зря.

1985

ПОСТУПОК РОЗЫ*

Памяти Н. Н. Сапунова

«Как хороши, как свежи...» О, как свежи,
как хороши! Пять было разных роз.
Всему есть подражатели на свете
иль двойники. Но роза розе — рознь.

Четыре сразу сгнули. Но главной
был так глубокий и жадно-дышащий зев:
когда б гортань стать захотела гласной —
рык издавала бы роза — царь и лев.

Нет, все ж не так. Я слышала когда-то,
мне слышалось, иль выдуманно мной
безвыходное низкое контральто:
вулканный выдох глубины земной.

Речей и пеня на высоких нотах
не слышу: как-то мелко и мало.
Труд розы — вдох. Ей не положен отдых.
Трудись, молчи, сокровище мое.

Но что же запах, как не голос розы?
Смолкает он, когда она мертва.
Прости мои развязные вопросы.
Поговорим, о госпожа моя.

Куда там! Норов розы не покладист.
Вдруг аромат — отлёт ее души?
Восьмой ей день. Она свежа покамест.
Как свежи, боже мой, как хороши

слова совсем бессмысленной и нежной,
прелестной и докучливой строки.

* Художник Н. Н. Сапунов утонул в Финском заливе 14 июня 1912 года.

И роза, вместо смерти неизбежной,
здорова — здравомыслью вопреки.

Светает. И на синеве, как рана,
отверсто горло розы на окне,
и скорбно черно-алое контральто.
Сама ль я слышу? Слышится ли мне?

Не с повеленьем, а с монаршей просьбой
не спорить же. К заливу я иду.
— О, не шути с моей великой розой! —
прошу и розу отдаю ему.

Плыви, о роза, бездну украшая.
Ты выбрала. Плыви светло, легко.
От Териок водою до Кронштадта,
хоть это смерть, не так уж далеко.

Волнам предайся, как художник милый
в ночь гибели, для века роковой.
До берега, что стал его могилой,
и ты навряд ли доплывешь живой.

Но лучше так — в разгар судьбы и славы,
предчувствуя, но знанья избежав.
Как он спешил! Как нервы были правы!
На свете так один лишь раз спешат.

Не просто тело мертвое качалось
в бесформенном удушии воды —
эпоха упования кончалась
и занимался крах его среды.

Вы встретитесь! Вы стоите друг друга:
одна осанка и один акцент,
как принято среди избранного круга,
куда не вхож богатый фармацевт.

Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.
Его настой другой цветок лакал.
Но слышалось бездонное контральто,
и выдох уст еще благоухал.

Вот истечение поминальных суток
по розе. Синева и пустота.
То — гордой розы собственный поступок.
Я ни при чем. Я розе — не чета.

1985

* * *

Темнеет в полночь и светает вскорее.
Есть напряженье в столь условной тьме.
Пред-свет и свет, словно залив и море,
слились и перепутались в уме.

Как разгляжу незримость их соитья?
Грань меж воды я видеть не могу.
Канун всегда таинственной события —
так мнится мне на этом берегу.

Так зорко, что уже подслеповато,
так чутко, что в заумии звенит,
я стерегу окно, и непонятно:
чем сам себя мог осветить залив?

Что предпочесть: бессонницу ли, сны ли?
Во сне видней что видеть не дано.
Вслепую — книжки Блока записные
я открываю. Пятый час. Темно.

Но не совсем. Иначе как я эти
слова прочла и поняла мотив:
«Какая безысходность на рассвете».
И отворилось зренье глаз моих.

Я вышла. Бодрый север по загровку
трепал меня, отверстый нюх солил.
Рассвету вспять я двинулась к заливу
и далее, по валунам, в залив.

Он морем был. Я там остановилась,
где обрывался мощный край гряды.
Не знала я: принять за гнев иль милость
валы непроницаемой воды.

Да, уж про них не скажешь, что лизнули
резиновое облачение ног.
И никакой поблажки и лазури:
горбы судьбы с поклажей вечных нош.

Был камень сведущ в мысли моря тайной.
Но он привык. А мне, за все века,
повиснуть в них подробностью случайной
впервой пришлось. Простите новичка.

«Какая безысходность на рассвете».
Но рассвело. Свет боле не иском.
Неужто пряткий получатель вести
ее обманет и найдет исход?

Вдруг возгорелась вкрапина гранита:
смотрел на солнце великанский лоб.
Моей руке шершаво и ранимо
отозвалась незыблемая плоть.

«Какая безысходность на рассвете».
Как весел мне мой ход по верх камней.
За главный смысл лишь музыка в ответе.
А здравый смысл всегда перечит ей.

1985

ПОБЕРЕЖЬЕ

Не грех ли на залив сменять
дом колченогий, пусторукий,
о том, что есть, не вспоминать,
иль вспоминать с тоской и мукой.

Руинам предпочесть родным
чужого бытия обломки
и городских окраин дым
вдали — принять за весть о Блоке.

Мысль непрестанная о нем
больному Блоку не поможет,
и тот обещанный лимон
здоровье чье-то в чай положит.

Но был так сильно, будто есть
день упоенья, день надежды.
День притаился где-то здесь,
на этом берегу,— но где же?

Не тяжек грех — тот день искать
в камнях и песках рассвета.
Но не бесчувственна ли мать,
избравшая занятие это?

Упрочить сердце, и детей
подкинуть обветшалою детской,
и ослабеть для слез о тех,
чье детство — крайность благоденствий.

Услышат все и не поймут
намек судьбы, беды предвестье.
Ум, возведенный в абсолют,
не грамотен в аз, буки, веди.

Но дом так чудно островерх!
Канун каникул и варенья,
день ангела и фейерверк,
том золоченый Жюля Верна.

Все потерять, страдать, стареть —
все ж меньше, чем пролет дороги
из Петербурга в Сестрорецк,
Куоккалу и Териоки.

Недаром протяжен уют
блаженных этих остановок:
ведь дальше — если не убьют —
Ростов, Батум, Константинополь.

И дальше — осенит крестом
скупым святая Женевьева.
Пусть так. Но будет лишь потом
все то, что долго, что мгновенно.

Сначала — дама, господин,
приникли кружева к фланели.
Все в мире бренно — но не сын,
вверх-вниз гоняющий качели.

Не всякий под крестом, кто юн
иль молод, мертв и опозорен.
Но обруч так летит вдоль дюн,
июнь, и небосвод двузорен.

И господин и дама — тот
имеют облик, чье решенье —
труды истории, итог,
триумф ее и завершенье.

А как же сын? Не надо знать.
Вверх-вниз летят его качели,
и юная бледнеет мать,
и никнут кружева к фланели.

В Крыму, похожий на него,
как горд, как мертв герой поручик.
Нет, он — дитя. Под рождество
какие он дары получит!

А чудно островерхий дом?
Ведь в нем как будто учрежденье?
Да нет! Там елка под замком.
О ты, чье празднуют рожденье,

ты милосерд, открой же двери!
К серьгам, браслетам и оковам
привыкла ли турчанка-ель?
И где это — под Перекопом?

Забудь! Своих детей жалею
за то, что этот век так долог,
за вырубленность их аллею,
за бедность их безбожных елок,

за не-язык, за не-латынь,
за то, что сирий ум — бледнее
без книг с обрезом золотым,
за то, что Блок тебе больнее.

Я и жалею. Лишь затем
стою на берегу залива,
взирая на чужих детей
так неотрывно и тоскливо.

Что пользы днем с огнем искать
снег прошлогодний, ветер в поле?
Но кто-то должен так стоять
всю жизнь возможную — и доле.

ГРЯДА КАМНЕЙ

I

Как я люблю гряды моих камней,
моих, моих! — и камни это знают,
и череду пустых и светлых дней,
из коих каждый лишь заливом занят.

Дарован день — и сразу же прощен.
Его изгиб — к заливу приниканье.
Привадились прыжок, прыжок, прыжок
на крайнем останавливаться камне.

Мой этот путь проторен столько крат,
так пристально то медлил, то парил он,
что в опыт камня свой принес карат
моих стояний и прыжков период.

Гряда моя вчера была черна,
свергал меня валун краеугольный.
Потопная воды величина
вал насылала, сумрачный и вольный.

Чуть с ног не сбил и до лица достал
взрыв бурных брызг. Лишь я и многоводность.
Коль смоем море лишнюю деталь,
не будет ничего здесь, никого здесь.

В какую даль гряды ни протянуть —
пунктир тысячелетий до Кронштадта.
Кто это — Петр? Что значит — Петербург?
Века проходят, волны в пыль крошатся.

Я не умею помышлять о том.
Не до того мне. Как недавней рыбе
не занестись? Она — уже тритон,
впервой вздохнувший на гранитной глыбе.

Как хорошо, что жабрам и хвосту
осознавать не надо бесконечность.
Не боязлив мой панцирь, я расту,
и мне уютна отчая крошечность.

Еще ничьи не молвили уста
над непробудной бездной молодой:
«Земля была безвидна и пуста,
и божий дух носился над водою».

Вдруг новое явилось существо.
Но явно: то — другая разновидность,
движение двух конечностей его
приблизилось ко мне, остановилось.

Спугнувший горб и перепонки лап,
пришелец сам подавлен и растерян.
Непостижимый первобытный взгляд
страшит его среди сырых расщелин.

Пришлось гасить сверканье чешуи,
сменить обличье, утаить породу
и тьмы времен прожить для чепухи —
раскланяться и побранить погоду.

Ознобно ждать, чтобы чужак ушел,
в беседе задохнуться подневольной,
вернуться в дом: прыжок, прыжок, прыжок —
и вновь предаться думе земноводной.

II

Как я люблю гряды моих камней,
простертую в даль моего залива,—
прочь от строки, влачащейся за ней.
Как быть? Строка гряды не разлюбила.

Я тут как тут в едва шестом часу.
Сон — краткий труд, зато пространен роздых.
Кронштадт — вдали, поверх и навесу,
словно Карсавина, прозрачно розов.

Андреевский собор, опять пришел
к тебе мой взор — твой нежный прихожанин.
Гряды: шаг, шаг, стою, прыжок, прыжок,
стою. Вдох легких ненасытно жаден.

Целую воду. Можно ли воды
чуть-чуть испить? — Пей вдоволь! — Смех залива
пью и целую. Я люблю гряды
все камни — безутешно, но взаимно.

Я слышу ласку сдержанных камней,
ладонью взгорбья их умов читая,
и различаю ощупью моей
обличий и осанок очертанья.

Их формой сжата формула времен,
вся длительность и вместе краткий вывод.
Смысл заточен в гранит и утаен —
укрытье смысла наблюдатель видит.

Но осязает чуткая рука
ответный пульс слежавшихся энергий,
и стиснутые, спертые века
теплы и вмятны коже многонервной.

Как пусто это сказано: века.
Непостижимость сиясь опровергнуть,
в глубь тайны прынет взглядчивость зрочка —
и слепо расшибется о поверхность.

Миг бытия вмещается в зазор
меж камнем и ладонью. Ты теряешь
его в честь камня. Твой недвижим взор,
и голос чайки душераздирающ.

Воздвигнув на заглавном валуне
свой штрих непрочный над пустыней бледной,
я думаю: на память обо мне
останется мой камень заповедный.

Но — то ль Кронштадт меня в залив сманил,
то ль сам слизнул беспечный смех залива —
я в нем. Над унижением моим
белеет чайка стройно и брезгливо.

Бывает день, когда смешливость уст —
заняты дня, забывшего про вечность.
Я отрясаю мокрость и смеюсь.
Родную брэнность не пора ль проведать?

Оскальзываюсь, вспять гряды иду,
оглядываюсь на воды далекость.
И в камне, замыкающем гряде,
оттиснута мгновенья мимолетность.

III

Как я люблю — гряде или строку,
камней иль слов — не разберу спросонок.
Цвет ночи, подступающей к окну,
пустой страницей на столе срисован.

Глаз дня прикрыт — мгновенье ока: тьма —
и снова зряч. Жизнь лакомств сокрушая,
гром дятла грянул в честь житья-бытья.
Ночь возвращает зренью долг Кронштадта.

Его объем над плосководьем волн —
как белый профиль дымчатой камеи.
Из ряда прочих видимостей вон
он выступил, приемля поклоненье.

Как я люблю гряде...— но я смеюсь:
тону в строке, как в мелкости прибрежной.
Пытается последней мглы моллюск
спасти в затворе раковины нежной.

Но сумрак вскрыт, разъят, преодолен
сверканьем — словно, к ужасу владельца,
заветный отворили медальон,
чтоб в хрупкое сокровище взглядеться.

И я из тех, кто пожелал глядеть.
Сон был моей случайно ошибкой.
Все утро, весь пред-белонощный день
залив я озираю беззащитный.

Он — содержанье мысли и окна.
Но в полночь просит: — Не смотри, не надо!

Так — нагота лица утомлена,
зачитана сторонней волей взгляда.

Пока залив беспомощно простер
все прихоти свои, все поведенья,
я знаю, как гнетет его присмотр:
сама — зевак законные владенья.

Что — я! Как нам залив не расплескать?
Паломники его рассветной рани
стекаются с припасами пластмасс
и беспородной рукотворной дряни.

День выходной: день — выход на разбой.
Поруганы застенчивые дюны,
и побирушкой роется прибой
в останках жалкой и отравной дури.

Печальный звук воздымлен на устах
залива: — Все тревожишь, все неволишь.
Что мне они! Хоть ты меня оставь.
Мое уединение — мое лишь.

Оно — твое лишь. Изнутри запри
покрепче перламутровые створки.
Есть время от зари и до зари.
Ночь сплющена в его ужайшем сроке.

Я задвигаю занавес. Бледны
залив и я в до-утренних кулисах —
в его, в моих. Но сбивчивой волны
бег неусыпен в наших схожих лицах.

Меня ночным прохожим выдает,
сквозь штор неплотность, лампы процветанье.
Разоблаченный рампой водоем
забыл о ней и предается тайне.

Прощай, гряда, прощай, строка о ней.
Залив, зачем все больно, что родимо?
Как далеко ведет гряда камней,
не знала я, когда по ней бродила.

* * *

Этот брег — только бред двух схватившихся зорь,
двух эпох, что не равно померялись мощью,
двух ладоней, прихлопнувших маленький вздор —
надоевшую невозродимую мошку.

Пролетал-докучал светлячок-изумруд.
Усмехнулся историк, заплакал ботаник,
и философ решал, как потом назовут
спор фатальных предчувствий и действий батальных.

Меньше века пройдет, и окажется прав
не борец-удалец, а добряк энтомолог,
пожалевший пыльцу, обращенную в прах:
не летит и не светится — страшно, темно ведь.

Новых крыл не успели содеять крыла,
хоть любили, и ждали, и звали кого-то.
И — походка корява и рожа крива
у хмельного и злого урода-курорта.

Но в отдельности — бедствен и жалостен лик.
Всё покупки, посылки, котомки, баулы.
Неужель я из них — из писателей книг?
Нет, мне родственней те, чьи черты слабоумны.

Как и выжить уму при большом, молодом
ветре моря и мая, вскрывающем почки,
под загробный, безвыходный стук молотков,
в продуктовые ящики бьющий на почте?

Я на почту пришла говорить в телефон,
что жива, что люблю. Я люблю и мертвею.
В провода, съединившие день деловой,
плач влетает подобно воздушному змею.

То ль весна сквозь слезу зелена, то ль зрачок
робкой девочки море увидел и зелен,
то ль двужилен и жив изумруд-светлячок,
просто скрытен — теперь его опыт надземен.

Он следит! Он жалеет! Ему не претит
приласкать безобразия горб многотрудный.
Он — слетит и глухому лицу причинит
изумляющий отсвет звезды изумрудной.

1985

* * *

Завидев дом, в испуге безъязыком,
я полюбила дома синий цвет.
Но как залива нынче цвет изыскан:
сам как бы есть, а цвета вовсе нет.

Вода вольна быть призрачна, но слово
о ней такое ж — не со-цветно ей.
Об имени для цвета никакого
ты, синий дом, не думай, а синей!

А занавески желтые на окнах!
Утешно сине-желтое пятно.
И дома-балаганчика невольник
не веселей, должно быть, чем Пьеро.

Я слышала, и обвели чернилами,
след музыки, что прежде здесь жила.
Так яблоко, хоть полно, но червиво.
Так этих стен ущербна тишина.

То ль слуху примерещилась больному
двоюродная мука грез и слез,
то ль не спалось подкидышу-бемолю.
Потом прошло, затихло, улеглось.

Увы тебе, грядущий мой преемник,
таинственный слагатель партитур.
Не преуспеть тебе в твоих паренях:
в них чуждые созвучья прорастут.

Прости меня за то, что озарили
тебя затмения моего ума.
Всегда ты будешь думать о заливе.
Тебя возьмется припекать луна.

Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,
но он твою не оскорбил струну.
Прошу тебя: люби мой домик синий
и занавесок яд и желтизну.

Они причастны тайне безобидной.
Я не смогу покинуть их вполне,
как близко сущий, но сейчас не видный
залив в моем распахнутом окне.

И что залив, загадка, поволока?
Спросила — и ответа заждалась.
Пожалуй, имя молодого Блока
подходит цвету, скрытому от глаз.

1985

* * *

Всё шхеры, фиорды, ущельных существ
оттуда пригляд, куда вживе не ходят.
Скитания омутно-леший сюжет,
остуда и оторопь, хвоя и холод.

Зажжен и не гаснет светильник сырой.
То — Гамсуна пагуба и поволока.
С налету и смолоду прянешь в силоч —
не вырвешь души из его приворота.

Болотный огонь одолел, опалил.
Что — белая ночь? Это имя обманно.
Так назван условно маньяк-аноним,
чьим бредням моя приглянулась бумага.

Он рыщет и свищет, и виснут усы,
и девушке с кухни понятны едва ли
его бормотанья: — Столь грешные сны
страшны или сладостны фрёкен Эдварде?

О фрёкен Эдварда, какая тоска —
над вечно кипящей геенной отвара
помешивать волны, клубить облака —
какая отвага, о фрёкен Эдварда!

И девушка с кухни страшится и ждет.
Он сгинул в чащобе — туда и дорога.
Но огненной порчей смущает и жжет
наитье прохладного глаза дурного.

Я знаю! Сама я гоняюсь в лесах
за лаем собаки, за гильзой пустою,
за смехом презренья в отравных устах,
за гибелью сердца, за странной мечтою.

И слышится в сырости мха и хвоща:
— Как скушно! Ничто не однажды, всё — дважды
иль многожды. Ждет не хлыста, а хлыща
звериная душенька фрёкен Эдварды.

Все фрёкен Эдварды во веки веков
бледны от белил захолустной гордыни.
Подале от них и от их муженьков!
Обнимемся, пес, мы свободны отныне.

И — хлыст оставляет рубец на руке.
Пес уши устави́л в мой шаг осторожный.
— Смотри,— говорю,— я хожу налегке:
лишь посох, да плащ, да сапог остроносый.

И мне, и тебе, белонощный собрат,
двоюродны люди и ровня — наяды.
Как мы — так никто не глядит на собак.
Мы встретились — и разминемся навряд ли.

Так дивные дива в лесу завелись.
Народ собирался и медлил с облавой —
до разрешенья ответственных лиц
покончить хотя бы с бездомной собакой.

С утра начинает судачить табль-д-от
о призраках трех, о кострах их наскальных.
И девушка с кухни кофейник прольет
и слепо и тупо взирает на скатерть.

Двоится мой след на росистом крыльце.
Гость-почерк плетет письма предо мною.
И в новой, чужой, за-озерной красе
лицо провинилось пред явью дневною.

Всё чушь, чешуя, серебристая чудь.
И девушке с кухни до страсти охота
и страшно — крысиного яства чуть-чуть
добавить в унылое зелье компота.

* * *

Лапландских летних льдов недальняя граница.
Хлад Ладоги глубок, и плавен ход лады.
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.
И ладен строй души, отверстой для любви.

Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?
Брезгливо серебро к затратам золотым.
Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.
(Латуни не нашлось, так сыщется латынь.)

Приладились слова к Приладожскому ладу.
(Вкруг лада — все мое, Брокгауз и Ефрон.)
Ум — гения черта, но он вредит таланту:
стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврет.

В околицах ума, в рассеянных чернотах,
ютится бедный дар и пробует сказать,
что он не позабыл Ладыжинских черемух
в пред-Ладожской стране, в над-Ладожских скалах.

Лещинный мой овраг, разлатанный, ледащий,
мною обольщен и мною приважен к похвалам.
Валунный водолей, над Ладогой летящий,
благослови его, владыко Валаам.

Черемух розных двух пересеченьем тайным
мой помысел ночной добыт и растворен
в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник,—
он, впрочем, не вступал в безумный разговор.

Фотограф знать не мог, что выступит на снимке
присутствие судьбы и дерева в окне.
Средь схемы световой — такая сила схимы
в зрачке, что сил других не остается мне.

Лицо и речь — души неодолимый подвиг.
В окладе хладных вод сияет день молодой.
Меж утомленных век смешались полночь, полдень,
лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.

1985

ШЕСТОЙ ДЕНЬ ИЮНЯ

Словно лев, охраняющий важность ворот
от пролаза воров, от досужего сглаза,
стерегу моих белых ночей приворот:
хоть ненадобна лампа, а все же не гасла.

Глаз недрёмано-львиный и нынче глядел,
как темнеть не умело, зато рассветало.
Вдруг я вспомнила — Чей занимается день,
и не знала: как быть, так мне весело стало.

Растревожила печку для пущей красы,
посылая заре измышление дыма.
Уу, как стал расточитель червонной казны
хохотать, и стращать, и гудеть нелюдимо.

Спал ребенок, сокрыто и стройно летя.
И опять обожгла безоплошность решенья:
Он сегодня рожден и покуда дитя,
как все это недавно и как совершенно.

Хватит львом чугунеть! Не пора ль пировать,
кофеином ошпарив зевок недосыпа?
Есть гора у меня, и крыльца перевал
меж теплом и горою, его я достигла.

О, как люто, как северно блещет вода.
Упасенье черемух и крах комариный.
Мало Севера мху — он воззрился туда,
где магнитный кумир обитает незримый.

Есть гора у меня — из гранита и мха,
из лишайных диковин и диких расщелин.
В изначалье ее укрывается мгла
и стенает какой-то пернатый отшельник.

Восхожу по крутым и отвесным камням
и стыжусь, что моя простодушна утеха:
всё мемории милые прячу в карман —
то перо, то клочок золотистого меха.

Наверху возлежит триумфальный валун.
Без оглядки взошла, но меня волновало,
что на трудность подъема уходит весь ум,
оглянулась: сиял Белый скит Валаама.

В нижнем мраке еще не умолк соловей.
На възглыбии выпуклом — пекло и стужа.
Чей прозрачный и полый вон тот силуэт —
неподвижный зигзаг ускользанья отсюда?

Этот контур пустой — облаченье змеи:
«выползйна». (О, как Он расспрашивал Даля
о словечке!) Добычливы руки мои,
прытки ноги, с горы напрямик упадая.

Мне казалось, что смотрит нагая змея,
как себе я беру ее кружев обноски,
и смеется. Ребенок заждется меня,
но подарком змеи как упьется он после!

Но препона была продвижению вниз:
на скале, под которою зелен мой домик,—
дрожь остуды, сверканье хрустальных ресниц,
это — ландыши, мытарство губ и ладоней.

Дале — книгу открыть и отдать ей цветок,
в ней и в небе о том перечитывать повесть,
что румяной зарею покрылся восток,
и обдумывать эту чудесную новость.

* * *

Я — лишь горы моей подножье,
и бытия величина
в жемчужной раковине ночи
на весь июнь заточена.

Внутри немеркнувшего нибма
души прижился завиток.
Иль Ибсена закрыта книга,
а я — засохший в ней цветок.

Все кличет кто-то: «Сольвейг! Сольвейг!» —
в чащобах шхер и словарей.
И, как на исповеди совесть,
блаженно страждет соловей.

В жемчужной раковине ночи,
в ее прозрачной свето-тьме
не знаю я сторонней нови,
ее гонец не вхож ко мне.

Мгновенье сомкнутого ока
мою зеницу бережет.
Не сбережет: меня жестоко
всеобщий призовет рожок.

Когда в июль слепящий выйду
и вспомню местность и людей,
привыкну ль я к чужому виду
наружных черт судьбы моей?

Дни станут жарче и короче,
и чайка выключет чуть свет
в жемчужной раковине ночи
невзрачный водянистый след.

1985

* * *

Не то чтоб я забыла что-нибудь —
я из людей, и больно мне людское,—
но одинокий мной проторен путь:
взойти на высший камень и вздохнуть,
и все смотреть на озеро морское.

Туда иду, куда меня ведут
обочья скал, лиловых от фиалок.
Возглавие окольных мхов — валун.
Я вглядываюсь в север и в июнь,
их распластав внизу, как авиатор.

Меня не опасается змея:
взгляд из камней недвижим и разумен.
Трезубец воли, скрытой от меня,
связует воды, глыбы, времена
со мною и пространство образует.

Поднебно вздыбье каменных стропил.
Кто я? Возьму Державинское слово:
я — некакий. Я — некий нетопырь,
не тороплив мой лёт и не строптив
чуть выше обитания земного.

Я думаю: вернуться ль в род людей,
остаться ль здесь, где я не виновата
иль прощена? Мне виден ход ладей
пред-Ладожский и — дальше и левей —
нет, в этот миг не видно Валаама.

1985

* * *

Мне дан июнь холодный и пространный
и два окна: на запад и восток,
чтобы в эпитет ночи постоянный
вникал один, потом другой висок.

Лишь в полночь меркнет полдень бесконечный,
оставив блик для рыбы и блесны.
Преобладанье призелени нежной
главенствует в составе белизны.

Уже второго часа половина,
и белой ночи сложное пятно
в ее края невхожего павлина
в залив роняет зрячее перо.

На любованье маленьким оттенком
уходит час. Светло, но не рассвет.
Сверяю свет и слово — так аптекарь
то на весы глядит, то на рецепт.

Кирьява-Лахти — имя вод окольных,
пред-Ладожских. Вид из окна — ушел
в расплывчатость. На белый подоконник
будильник белый грубо водружен.

И не бела цветная ночь за ними.
Фиалки проступают на скале.
Мерцает накипь серебра в заливе.
Синеет плащ, забытый на скамье.

Четвертый час. Усилен блеск фиорда.
Метнулась птицы взбалмошная тень.
Распахнуты прозрачные ворота.
Весь розовый, в них входит новый день.

Еще ночные бабочки роятся.
В одном окне — фиалки и скала.
В другом — огонь, и прибылью румянца
позлащена одна моя скула.

1985

* * *

То ль потому, что ландыш пожелтел
и стал невзрачной пользой аптечной,
то ль отвращенье возбуждал комар
к съедобной плоти — родственнице тел,
кормящихся добычей бесконечной,
как и пристало лакомым кормам...

То ль потому, что встретила змея,—
я бы считала встречу добрым знаком,
но так она не расплела колец,
так равнодушно видела меня,
как если б я была пред вещим зраком
пустым экраном с надписью: «Конец»...

То ль потому, что смерклось на скалах
и паузой ответила кукушка
на нищенский и детский мой вопрос,—
схоласт-рассудок явственно сказал,
что мне мое не удалось искусство,—
и скушный холод в сердце произрос.

Нечаянно рука коснулась лба:
в чем грех его? В чем бедная ошибка?
Достало и таланта, и ума,
но слишком их таинственна судьба:
окраинней и глуше нет отшиба,
коль он не спас — то далее куда?

Вчера, в июня двадцать третий день,
был совершенен смысл моей печали,
как вид воды — внизу, вокруг, вдали.
Дано ль мне знать, как глаз змеи глядел?
Те, что на скалах, ландыши увяли,
но ландыши низин не отцвели.

1985

* * *

Пора, прощай моя скала,
и милый дом, и в нем каморка,
где все моя сирень спала,—
как сновиденно в ней, как мокро!

В опочивальне божества,
для козней цвета и уловок,
подрагивают существа
растений многажды лиловых.

В свой срок ступает за порог
акцент оттенков околичных:
то маргариток говорок,
то орхидеи архаичность.

Фиалки, водосбор, люпин,
качанье перьев, бархат мантий.
Но ирис боле всех любим:
он — средоточье черных магий.

Ему и близко равных нет.
Мучителен и хрупок облик,
как вывернутость тайных недр
в кунсткамерных прозрачных колбах.

Горы подножье и подвал —
словно провал ума больного.
Как бедный Врубель тосковал!
Как все безвыходно лилово!

Но зачарован мой чулан.
Всего, что вне, душа чуралась,
пока садовник учинял
сад: чудо-лунность и чуланность.

И главное: скалы визит
сквозь стену и окно глухое.

Вошла — и тяжело висит,
как гобелен из мха и хвои.

А в комнате, где правит стол,
есть печь — серебряная львица.
И соловьиный произвол
в округе белонощной длится.

О чем уста ночных молитв
так воздыхают и пекутся?
Сперва пульсирует мотив
как бы в предсердии искусства.

Все горячее перебой
артерии сакраментальной,
но бесполезен перевод
и суесловен комментарий.

Сомкнулись волны, валуны,
канун разлуки подневольной,
ночь белая и часть луны
над Ладогою хладноводной.

Ночь, соловей, луна, цветы —
круг стародавних упований.
Преуспеянью новизны
моих не нужно воспеваний.

Она б не тронула меня!
Я — ей вреда не причиняла
во глубине ночного дня,
в челне чернильного чулана.

Не признавайся, соловей,
не растолковывай, мой дальний,
в чем смысл страдальческой твоей
нескладицы исповедальной.

Пусть всяко понимает всяк
слогов и пауз двуединость,
утайки маленькой пустяк —
заветной тайны нелюдимость.

НОЧНОЕ

Ночные измышленья, кто вы, что вы?
Мне жалко вашей робкой наготы.
Жаль, что нельзя, нет сил надвинуть шторы
на дождь в окне, на мокрые цветы.

Все отгоняю крылья херувима
от маленького ада ночника.
Черемуха — слепая балерина —
последний акт печально начала.

В чем наша связь, писания ночные?
Вы — белой ночи собственная речь.
Она пройдет — и вот уже ничьи вы.
О ней на память надо ль вас беречь?

И белый день туманен, белонощен,
Вниз поглядеть с обрыва — все равно
что выхватить кинжал из мягких ножен:
так вод холодных остро серебро.

Дневная жизнь — уловка, ухищренье
приблизить ночь. Опаска все сильней:
а вдруг вчера в над-Ладожском ущелье
дотла испепелился соловей?

Нет, Феникс мой целехонек и свищет:
слог, слог — тире, слог, слог — тире, тире.
Пунктира ошупь темной цели ищет,
и слаще слова стопор слов в строке.

Округла полночь. Все свежо, все внове.
Я из чужбины общей уйду
и возвращаюсь в отчее, в ночное.
В ночное — что? В ночное — что хочу.

* * *

Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет,
от соседства-родства упасенный отшибом.
Лишь увидела дом — я подумала: вот
обиталище надобных снов и ошибок.

В его главном окне обитает вода,
назовем ее Ладогой с малой натяжкой.
Не видна, но Полярная светит звезда
в потайное окно, притесненное чашей.

В эти створки гляжу, как в чужой амулет
иль в укрытие слизня, что сглазу не сносит.
Склон горы, опрокинувшись и обомлев,
дышит жабрами щелей и бронхами сосен.

Дом причастен воде и присвоен горой.
Помыкают им в очередь волны и камни.
Понукаемы сдвоенной белой зарей
преклоненье хребта и хвоста пресмыканье.

Я люблю, что его чешуя зелена.
И ночному прохожему видно с дороги,
как черемухи призрак стоит у окна
и окна выражение потусторонне.

Дому придан будильник. Когда горизонт
расплывется и марля от крыльев злотворных
добавляет туману — пугающий звон
издает заточенный в пластмассу затворник.

Дребезжит самовольный перпетуум-плач.
Ветвь черемухи — большего выпуклый образ.
Второгодник, устав от земных неудач,
так же тупо и пристально смотрит на глобус.

Полночь — вот вопросительной ветви триумф.
И незримый наставник следит с порицанием.
О решение задачи сносился мой ум.
Вид пособия наглядного непроницаем.

Скудость темени — свалка пустот и чернот.
Необщительность тайны меня одолеет.
О, узреть бы под утро прозрачный чертог
вместо зыбкого хаоса, как Менделеев.

Я измучилась на белонощном посту,
и черемуха перенасыщена мною.
Я, под панцирем дома, во мхи уползу
и лицо оплесну неразгаданной мглою.

Покосившись на странность занятий моих,
на работу идет непроснувшийся малый.
Он не знает, что грустно любим в этот миг
изнуренным окном, перевязанным марлей.

Кто прощает висок, не познавший основ?
Кто смешливый и ласковый смотрит из близости?
И колышется сон... убаюканный сон...
сон-аргентум в отчетливой отчетной таблице.

* * *

Где Питкьяранта? Житель Питкьярантский
собрался в путь. Автобус дребезжит.
Мой тайный глаз, живущий под корягой,
автобуса оглядывает жизнь.

Пока стоим. Не поспешает к цели
сквозной приют скитальцев ирот.
И силуэт старинной финской церкви
в проеме арки скорбно предстает.

Грейпфрут — добыча многих. Продавала
торговли придурь неуместный плод.
Эх, Сердоболь, эх, город Сортавала!
Нюх отворен и пришлый запах пьет.

Всех обликов так скудно выраженье,
так загнан взгляд и неказиста стать,
словно они эпоху Возрожденья
должны опровергать и попирать.

В дверь впопыхах три девушки скакнули.
Две первые пригожи, хоть грубы.
Содеяли уроки физкультуры
их наливные руки, плечи, лбы.

Но простодушна их живая юность,
добротна плоть, и дело лишь за тем
(он, кстати, рядом), кто зрачков угрюмость
примерит к зову их дремотных тел.

Но я о той, о третьей их подруге.
Она бледна, расплывчато полна,
пьяна, но четко обнимают руки
припасы бедной снеди и вина.

Совсем пьяна, и сонно и безгрешно
пустует глаз, безвольно голубой,
бесцветье прядей Ладоге прибрежно,
бесправье черт простерто пред судьбой.

Поехали! И свалки мимолетность
пронзает вдруг единством и родством:
котомки, тетки, дети, чей-то локоть —
спасемся ль, коль друг в друга прорастем?

Гремим и едем. Хвойными грядами
обвешено сверкание воды.
На всех балконах — рыбьих душ гирлянды.
Фиалки скал издалека видны.

Проносится роскошный дух грейпфрута,
словно гуляка, что потряхнул мошной.
Я озираю, мучась и ревнуя,
сокровища черемухи сплошной.

Но что мне в этой, бледно-белой, блёклой,
с кульками и бутылками в руках?
Взор, слабоумно-чистый и далёкий,
оставит грамотея в дураках.

Ее толкают: — Танька! — дремлет Танька,
но сумку держит цепкостью зверька.
Блаженной, древней исподволи тайна
расширила бессмыслицу зрачка.

Должно быть, снимок есть на этажерке:
в огромной кофте Танька лет пяти.
Готовность к жалкой и неясной жертве
в чертах приметна и сбылась почти.

Да, этажерка с розаном, каморка.
В таких стенах роль сумки велика.
Брезгливого и жуткого кого-то
в свой час хмельной и Танька завлекла.

Подружек ждет обнимка танцплощадки,
особый смех, прищуриванье глаз.
Они уйдут. А Таньке нет пощады.
Пусть мается — знать, в мае родилась.

С утра не сыщется маковой росинки.
Окурки, стужа, лютая кровать.
Как размыкать ей белые ресницы?
Как миг снести и век провековать?

Мне — выходить. Навек я Таньку брошу.
Но все она стоит передо мной.
С особенной тоской я вижу брошку:
юродивый цветочек жестяной.

1985

* * *

Вся тьма — в отсутствии, в опале,
да несподручно без огня.
Пишу, читаю — но лампы
нет у людей, нет у меня.

Электрик запил, для элегий
тем больше у меня причин,
но выпросить простых энергий
не удалось мне у лучин.

Верней, лучинушки-лучины
не добыла, в сарай вошел:
те, кто мотиву научили,
сокрыли, как светец возжечь.

Немногого недоставало,
чтоб стала жизнь моя красна,
веретено мое сновало,
свисала до полу коса.

А там, в рубахе кумачовой,
а там, у белого куста...
Ни-ни! Брусникою моченой
прилежно заняты уста.

И о свече — вотще мечтанье:
где нынче взять свечу в глуши?
Не то бы предавалась тайне
душа вблизи ее души.

Я б села с кротким рукодельем...
ах, нет, оно несносно мне.
Спросила б я: о Дельви́г, Дельви́г,
бела ли ночь в твоём окне?

Мне б керосинового света
зеленый конус, белый круг —
в канун столетия и лета,
где сад глубокий и берег крут.

Меня б студента-златоуста
пленил мундир, пугал апломб.
«Так говори, как Заратустра!» —
он написал бы в мой альбом.

Но все это пустая греза.
Фонарик есть, да нет в нем сил.
Ночь и электрик правы розно:
в ночь у него родился сын.

Спасибо вечному обмену:
и ночи цвет не поврежден,
и посрамленному Амперу
соперник новый нарожден.

После полуночи темнеет —
не вовсе, не дотла, едва.
Все спать улягутся, но мне ведь
привычной складывать слова.

Я авторучек в автолавке
больной букет приобрела:
темны их тайные таланты,
но масть пластмассы так бела.

Вот пальцы зоркие поймали
бег анемичного пера.
А дальше просто: лист бумаги
чуть ярче общего пятна.

Несупротивна ночи белой
неразличимая строка.
Но есть светильник неумелый —
сообщник моего окна.

Хранит меня во тьме короткой,
хранит во дне, хранит всегда
чер ухи простонародной
высокородная звезда.

Вдруг кто-то сыщется и спросит:
зачем при ней всю ночь сижу?
Что я отвечу? Хрупкий отсвет,
как я должна, так обвожу.

Прости, за то прости, читатель,
что я не смыслов поставщик,
а вымыслов приобретатель
черемуховых и своих.

Электрик, загулявший на ночь,
сурово смотрит на зарю
и говорит: «Все сочиняешь?»
«Все починяешь?»— говорю.

Всяк о своем печется свете,
и возгорается, смеясь,
залатанной электросети
с вот этими стихами связь.

1985

ЧЕРЕМУХА БЕЛОНОШНАЯ

Черемухи вдыхатель, воздыхатель,
опять я пью настой ее души.
Пристрастьем этим утомлен читатель,
но мысль о нем не водится в глуши.

Май подмосковный жизнь ее рассеял
и Сестрорецкий позабыл июнь.
Я снегирем преследовала север,
чтобы врасплох застать ее канун.

Фиалки собирала Сортавала,
но главная владычица камней
еще свои намеренья скрывала,
еще и слуху не было о ней.

И кто она? Хоть родом из черемух —
не ищет и чурается родства.
Вдоль строгих вод серебряно-черенных
из холода она произросла.

Я — вчуже ей, южна и чужестранна.
Она не сообщительна в цвету:
нисколько задушевничать не стала,
в неволю не пошла на поводу.

Рубаха-куст, что встрепан и распахнут,
ей жалок. У нее другая стать.
Как замкнуто она, как гордо пахнет —
ей не пристало ноздри развлекать.

Когда бы поэтических намеков
был введом слог красавице моей —
ей был бы предпочтителен Набоков.
А с челядью — зачем якшаться ей?

Что делать мне? К вниманию маньяка
черемуха брезглива и слепа.
Не ровня ей навязчивый меняла
запретных тайн на мелкие слова.

Она — бельмо в моих глазах усталых
и кисея завесы за окном:
в ее черте, в урочище русалок
был возведен бледно-зеленый дом.

Дом и растение призрачны на склоне
горы, бледно-зеленом, как они.
Все здесь бледны, все зелены, но вскоре
порозовеет с правой стороны.

Ночного света маленькая убыль.
Внутри огня, помоста на краю,
с какой тоской «Она меня не любит!»
я голосом Сальвини говорю.

Соцветья суверенные повисли,
но бодрствуют. Кому она верна?
Зачем не любит? Как ее по-фински
зовут? С утра спрошу у словаря.

...Нет надобного словаря в читальне.
Не утерпевшей на виду не быть,
пусть имя маски остается в тайне —
не Блоку же перечить и грубить.

Записку мне послала Сортавала.
Чья милая, чья добрая рука
для блажи чужака приоткрывала
родную одинокость языка?

Все нежность, нежность. И не оттого ли
растенья потупляет наготу
пред грубым взором? Ведь она — туоми.
И кúкива туоми, коль в цвету.

Туоми пúу — дерево. Не легче
от этого. Вблизи небытия
ответствует черемухи наречье:
— Ступай себе. Я не люблю тебя.

Еще свежа и голову туманит.
Ужель вся эта хрупкость к сентябрю
на ягоды пойдет? (Туомэнмáрьят —
я с тайным раздраженьем говорю.)

И снова ночь. Как удалась мгновенью
такая закись света и темна?
Туоми, так ли? Я тебе не верю.
Прощай, Туоми. Я люблю тебя.

1985

* * *

Так бел, что опалает веки,
кратчайшей ночи долгий день,
и белоручкам белошвейки
прощают молодую лень.

Оборок, складок, кружев, рюшей
сегодня праздник выпускной
и расстава́нья срок горячий
моей черемухи со мной.

В ночи девичьей, хороводной
есть болевотворная тоска.
Ее, заботой хлороформной,
туманят действия цветка.

Воскликнет кто-то: знаем, знаем!
Приелся этот ритуал!
Но всех поэтов всех избранниц
кто не хулил, не ревновал?

Нет никого для восклицаний:
такую я сыскала глушь,
что слышно, как, гонимый цаплей,
в расщелину уходит уж.

Как плавно выступала пава,
пока была ее пора! —
опалом пагубным всплывала
и Анной Павловой плыла.

Еще ей рукоплещут ложи,
еще влюблен в нее бинокль —
есть время вымолвить: о боже! —
нет черт в ее лице больном.

Осталась крайность славы: тризна.
Растенье свой триумф снесло,

как знаменитая артистка,—
скоропостижно и светло.

Есть у меня чулан фатальный.
Его окно темнит скала.
Там долго гроб стоял хрустальный,
и в нем черемуха спала.

Давно в округе обгорело,
быльем зеленым поросло
ее родительское древо
и все недалнее родство.

Уж примерялись банты бала.
Пылали щеки выпускниц.
Красавица не открывала
дремотно-приторных ресниц.

Пеклась о ней скалы дремучесть
всё каменистей, всё лесней.
Но я, любя ее и мучась,—
не королевич Елисей.

И главной ночью длинно-белой,
вблизи неутолимых глаз,
с печальной грацией несмелой
царевна смерти предалась.

С неизъяснимою тоскою,
словно былую жизнь мою,
я прах ее своей рукою
горы подножью отдаю.

— Еще одно настало лето,—
сказала девочка со сна.
Я ей заметила на это:
— Еще одна прошла весна.

Но жизнь свежа и беспощадна:
в черемухи прощальный день
глаз безутешный — мрачно, жадно
успел воззриться на сирень.

* * *

Сирень, сирень — не кончилась бы худом
моя сирень. Боюсь, что не к добру
в лесу нашла я разоренный хутор
и у него последнее беру.

Какое место уготовил дому
разумный финн! Блеск озера слезил
зрачок, когда спускалась за водою
красавица, а он за ней следил.

Как он любил жены златоволосой
податливый и плодоносный стан!
Она, в невестах, корень приворотный
заваривала — он о том не знал.

Уже сынок играл то в дровосека,
то в плотника, и здраво взгляд синел,—
все мать с отцом шептались до рассвета,
и все цвела и сыпалась сирень.

В пять лепестков она им колдовала
жить-поживать и наживать добра.
Сама собой слагалась Калевала
во мраке хвой вокруг светлого двора.

Не упасет неустрашимый Калев
добротной, животворной простоты.
Все в бездну огнедышащую канет.
Пройдет полвека. Устоят цветы.

Душа сирени скорбная витает —
по недосмотру бывших здесь гостей.
Кто предпочел строению — фундамент,
румяной плоти — хрупкий хруст костей?

Нашла я доску, на которой режут
хозяйки снедь на ужинной заре,—
и заболел какой-то серый скрежет
в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.

Зачем мой ход в чужой цветник вломился?
Ужель чтоб на кладбище пировать
и языка чужого здравомысле
возлюбленную речью попить?

Нет, не затем сирени я добытчик,
что я сирень без памяти люблю
и многотолпен стал ее девичник
в сырой пристройке, в северном углу.

Все я смотрю в сиреневые очи,
в серебряные воды тишины.
Кто помышлял: пожалуй, белой ночи
достаточно — и дал лишь пол-луны?

Пред-северно, продольно, сыровато.
Залив стоит отвесным серебром.
Дождит, и отзовется Сортавала,
коли ее окликнешь: Сердоболь.

Есть у меня будильник, полномочный
не относиться к бдению иль сну.
Коль зазвенит — автобус белонощный
я стану ждать в двенадцатом часу.

Он появляться стал в канун сирени.
Он начал до потопа, до войны
свой бег. Давно сносились, устарели
его крыла, и лица в нем бледны.

Когда будильник полночи добьется
по усмотренью только своему,
автобус белонощный пронесется —
назад, через потом, через войну.

В обратность дней, вспять времени и смысла,
гремит его брезентовый шатер.
Погони опасаясь или сыска,
тревожно озирается шофер.

Вдоль берега скалистого, лесного
летит автобус — смутен никак.
Одна я слышу жуткий смех клаксона,
хочу взглядеться в лица седоков.

Но вижу лишь бескровный и зловещий
туман обличий и не вижу лиц.
Все это как-то связано с зацветшей
сиренью возле старых пепелищ.

Ужель спешат к владениям отцовским,
к пригожим женам, к милым сыновьям.
Конец июня: обоняньем острым
о сенокосе грезит сеновал.

Там — дом смолист, нарядна черепица.
Красавица ведро воды несла —
так донесла ли? О скалу разбиться
автобусу бы надо, да нельзя.

Должна ль я снова ждать их на дороге
на Питкяранту? (Славный городок,
но как-то грустно, и озябли ноги,
я ныне странный и плохой ходок.)

Успею ль сунуть им букет заветный
и прокричать: «Возьми, несчастный друг!» —
в обмен на скользь и склизь прикосновений
их призрачных и благодарных рук?

Легко ль так ночи проводить, а утром,
чей загодя в ночи содеян свет,
опять брести на одинокий хутор
и уносить сирени ветвь и весть.

Мой с диким механизмом поединок
надолго ли? хочу чернил, пера
или заснуть. Но вновь блажит будильник.
Беру сирень. Хоть страшно — но пора.

* * *

Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого́ нет,
но воздуха и вод удвоен гласный звук,
как если б кто-то был и вымолвил: Коонен...
О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.

Я помню голос тот, неродственный канонам
всех горл: он одинок единогогласья средь,
он плоской высоте приходится каньоном
и зренью приоткрыт многопородный срез.

Я слышала его на поминанье Блока.
(Как грубо молода в ту пору я была.)
Из перьев синих птиц, чья вотчина — эпоха
былая, в дне чужом нахохлилось боа.

Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока
уныньем горловым — понять я не могла.
Но сколько лет прошло! Когда боа поблёлкло,
рок маленький ко мне послал его крыла.

Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?
Акцент долгот присущ волнам и валунам.
Аа — таков ответ незримых колоколен.
То — эхо возвратил недалний Валаам.

1985

* * *

Сверканье блесен, жалобы уключин.
Лишь стол и я смеемся на мели.
Все ловят щук. Зато веленьем щучьим
сбываются хотения мои.

Лилового махрового растенья
хочу! — сгустился робкий аметист
до зауми чернильного оттенка,
чей мрачный слог мастит и знаменит.

Исчадь дальнеродственных династий,
породы упование и итог, —
пустив на буфы бархат кардинальский,
цветок вступает в скудный мой чертог.

Лишь те, чей путь — прыжок из грязи в князи,
пугаются крошечности камор.
А эта гостья — на подмостках казни
войдет в костер: в обыденный комфорт.

Каморки заковыристой отшелье —
ночных крамол и таинств закрома.
Не всем домам дано вовнутрь ущелье.
Нет, не во всех домах живет скала.

В моем — живет. Мох застилает окна.
И Север, преступая перевал,
зажигает и туманит стекла,
вот и сегодня вспомнил, побывал.

Красе цветка отечественна здравость
темнот застойных и прохладных влаг.
Он полюбил чужбины второзданность:
чащобу-дом, дом-волю, дом-овраг.

Явилась в нем нездешняя осанка,
и выдаст обращенья простота,

что эта, под вуалем, чужестранка —
к нам ненадолго и не нам чета.

Кровь звезд и бездн под кожей серебрится,
и запах умоляюще несмел,
как слабый жест: ненадобно так близко!
Здесь — грань прозрачных и возбранных сфер.

Высокородный выкормыш каморки
приемлет лилий флорентийских весть,
обмолвки, недомолвки, оговорки
вобрав в лилейный и лиловый цвет.

Так, усмотреньем рыбы востроносой
в теснине каменистого жилья,
со мною делят сумрак осторожный
скала, цветок и ночь-ворожея.

Чтоб общежитья не смущать основы
и нам пред ним не возгордиться вдруг,
приходят блики, промельки, ознобъ
и замыкают узко-стройный круг.

— Так и живете? — Так живу, представьте.
Насущнее всех остальных проблем —
оставленный для Ладоги в пространстве
и Ладогой заполненный пробел.

Соединив живой предмет и образ,
живет за дважды каменной стеной
двужильного уединенья доблесть,
обняв сирень, оборонясь скалой.

А этот вот, бредущий по дороге,
невзгодой оглушенный человек
как связан с домом на глухом отроге
судьбы, где камень вещь и островерх?

Все связано, да объяснить непросто.
Скала — затем, чтоб тайну уберечь.
Со временем все это разберется.
Сейчас — о ночи и сирени речь.

* * *

Лишь июнь Сортавальские воды согрел —
поселенья опальных черемух сгорели.
Предстояла сирень, и сильней и скорей,
чем сирень, расцвело обожанье к сирени.

Тьмам цветений назначил собор Валаам.
Был ли молод монах, чье деянье сохранно?
Тосковал ли, когда насаждал-поливал
очертания нерукотворного храма?

Или старец, готовый пред богом предстать,
содрогнулся, хоть глубь этих почв не червива?
Суммой сумрачной заросли явлена страсть.
Ослушанье послушника в ней очевидно.

Это — ересь июньских ночей на устах,
сон зрачка, загулявший по Ладожским водам.
И не виден мне богобоязненный сад,
дали ветку сирени — и кажется: вот он.

У сиреневых сводов нашелся один
прихожанин, любое хождение отвергший.
Он глядит нелюдимо и сиднем сидит,
и крыльцу его — в невидаль след человеческий.

Он заране запасася скалою в окне.
Есть сусек у него: ведовская каморка.
Там он держит скалу, там случалось и мне
заглядеться в ночное змеиное око.

Он хватает сирень и уносит во мрак
(и выносит черемухи остов и осыпь).
Не причастен сему светлоликий монах,
что терпеньем сирени отстаивал остров.

Наплывали разбой и разор по волнам.
Тем вольней принималась сирень разрастаться.
В облаченье лиловом вставал Валаам,
и смотрело растенье в глаза святотатца.

Да, хватает, уносит и смотрит с тоской,
обожая сирень, вождедея сирени.
В чернокнижной его кладовой колдовской
борода его кажется старше, синее.

Приворотный отвар на болотном огне
закипает. Летают крылатые мыши.
Помутилась скала в запотевшем окне:
так дымится отравное варево мысли.

То ль юннат, то ли юный другой следопыт
был отправлен с проверкою в дом под скалою.
Было рано. Он чая еще не допил.
Он ушел, не успев попрощаться с семьею.

Он вернулся не скоро и вчуже смотрел,
говорил неохотно, держался сурово.
— Там такие дела, там такая сирень,—
проронил — и другого не вымолвил слова.

Относили затворнику новый журнал,
предлагали газету какую угодно.
Никого не узнал. Ничего не желал.
Грубо ждал от смущенного гостя — ухода.

Лишь остался один — так и прыгнул в тайник,
где храним ненаглядный предмет обожанья.
Как цветет его радость! Как душу томит,
обещать не умея и лишь обольщая!

Неужели нагрянут, спугнут, оторвут
от судьбы одинокой, другим не завидной?
Как он любит течение ее и триумф
под скалою лесною, звериной, змеиной!

Экскурсантам, что свойственны этим местам,
начал было твердить предводитель экскурсий:

вот-де дом под скалой... Но и сам он устал,
и народу казалась история скушной.

Был забыт и прощен ее скромный герой:
ответ острова сердце склоняет к смирению.
От свершений мирских упасаем горой,
пусть сидит со своей монастырской сиренью.

1985

* * *

Вошла в лиловом в логово и в лоно
ловушки — и благословил ловец
все, что совсем, почти, едва лилово
иль около-лилово, наконец.

Отметина преследуемой масти,
вернись в бутон, в охранную листву:
все, что повинно в ней хотя б отчасти,
несет язычник в жертву божеству.

Ему лишь лучше, если цвет уклончив:
содеяв колоколенки разор,
он нехристом напал на колокольчик,
он распалил и не насытил взор.

Анютиных дикорастущих глазок
здесь вдосталь, и, в отсутствии Анют,
их дикие глаза на скалолазов
глядят, покуда с толку не собьют.

Маньяк бросает выросший для взгляда
цветок к ногам лиловой госпожи.
Ей все равно. Ей ничего не надо,
но выговорить лень, чтоб прочь пошли.

Лишь кисть для акварельных окроплений
и выдох жабр, нырнувших в аква-спорт,
нам разъясняют имя аквилегий
и попросту выходит: водосбор.

В аквариум окраины садовой
растенья окунает плавники.
Завидев блеск серебряно-съедобный,
охотник чайкой прынул в цветники.

Он страшен стал! Он все влачит в лачугу
кладычице, к обидчице своей.
На Ладоги вечернюю кольчугу
он смотрит все угрюмей и сильней.

Его терзает сизое сверканье
той части спектра, где сидит фазан.
Вдруг покусится на перо фазанье
запреты презирующий азарт?

Нам повезло: его глаза воззрились
на цветовой потуги абсолюта —
на ирис, одинокий, как Озирис
в оазисе, где лютик робко-люта.

Не от сего он мира — и погибнет.
Ущербно-львиный по сравненью с ним,
в жилище, баснословном, как Египет,
сфинкс захоластья бредит и не спит.

И даже этот волокита-рыцарь,
чьи притязанья отемнили дом, —
бледнеет раб и прихвостень царицын,
лиловой кровью замавав ладонь.

Вот — идеал. Что идол, что идея!
Он — грань, пред-хаос, крайность красоты,
устойчивость и грация изделия
на волосок от роковой черты.

Покинем ирис до его скончанья —
тем боле что лиловости вампир,
владея ею и по ней скучая,
припас чернил давно до дна допил.

Страдание сознания больного —
сирень, сиречь: наитье и напасть.
И мглистая цветочная берлога —
душно-лилова, как медвежья пасть.

Над ней — дымок, словно она — Везувий
и думает: не скушно ль? Не пора ль?
А я? Умно ль — Офелией безумной
цветы собирать и песню напевать?

Плутаю я в пространном фиолете.
Свод розовый стал меркнуть и синеть.
Пришел художник, заиграл на флейте.
Звана сирень — ослышалась свирель.

Уж примелькалась слуху их обнимка,
но дудочка преследует цветок.
Вот и сейчас — печально, безобидно
всплыл в сумерках их общий завиток.

Как населили этот вечер летний
оттенков неземные мотыльки!
Но для чего вошел художник с флейтой
в проем вот этой прерванной строки?

То ль звук меня расстроил неисконный,
то ль хрупкий неприкаянный артист
какой-то незапамятно-иконный,
прозрачный свет держал между ресниц,—

но стало грустно мне, так стало грустно,
словно в груди всплакнула смерть птенца.
Сравненью ужаснувшись, трясогузка
улепетнула с моего крыльца.

Что делаю? Чего ищу в сирени —
уж не пяти, конечно, лепестков?
Вся жизнь моя — чем старе, тем страннее.
Коль есть в ней смысл, пора бы знать: каков?

Я слышу — ошибаюсь неужели? —
я слышу в еженощной тишине
неотвратимой воли наущенье —
лишь послушанье остается мне.

Лишь в полночь весть любовного ответа
явилась изумленному уму:
отверстая заря была со-цветна
цветному измышленью моему.

* * *

Здесь никогда пространство не игриво,
но осторожный анонимный цвет —
уловка прятков, ночи мимикрия:
в среде черемух зримой ночи нет.

Но есть же! — это мненье циферблата,
два острия возведшего в зенит.
Благоуханье не идет во благо
уму часов: он невпопад звенит.

Бескровны формы неба и фиорда.
Их полых впадин кем-то выпит цвет.
Диковиной японского фарфора
черемухи подрагивает ветвь.

Восславив полночь дребезгами бреда,
часы впадают в бледность забытья.
Взор занят обреченно и победно
черемуховой гроздью бытия.

1985

* * *

— Что это, что? — Спи, это жар во лбу.

— Чьему же лбу такое пламя впору?

Кто сей со лбом и мыслью лба: веду
льва в поводу и поднимаюсь в гору?

— Не дать ли льда изнеможенью лба?

— Того ли лба, чья знала дальновидность,
где валуны воздвигнуть в память льда:
де, чти, простак, праматерь-ледовитость?

— Испей воды и не дотла сгори.

Все хорошо. Вот склянки, вот облатки.

— Со лбом и львом уже вверху горы:
клубится грива и сверкают латы.

— Спи, это бред, испекший ум в огне.

— Тот, кто со львом, и лев идут к порогу.
Коль это мой разыгран бред вовне,
пусть гением зовут мою хворобу.

И тот, кого так сильно... тот, кому
прискучил блеск быстротекучей ртути,
подвел меня к замерзшему окну,
и много счастья было в той минуте.

С горы небес шел латник золотой.
Среди ветвей, оранжевая, длилась
его стезя — неслышимой пятой
след голубой в ней пролагала львиность.

Вождь льва и лев вблизи подошли ко мне.
Мороз и солнце — вот в чем было дело.
Так день настал — девятый в декабре.
А я болела и в окно глядела.

Затмили окна, затворили дом
(день так сиял!), задвинули ворота.
Так страшно сердце расставалось с Днём,
как с тою — тот, где яд, клинок, Верона.

Уж много раз менялись свет и темь.
В пустыне мглы, в тоске неодолимой,
сиротствует и полыхает День,
мой невоспетый, мой любимый — львиный.

1985

ЕЛКА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ

В коридоре больничном поставили елку. Она и сама смущена, что попала в обитель страданий. В край окна моего ленинградская входит луна и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна, переходит луна, и доносится шорох стараний утаить от соседок, от злого непрочного сна нарушенье порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но всё же — канун Рождества. Завтра кто-то дождется известий, гостинцев, свиданий. Жизнь со смертью — в соседях. Каталка всегда не пуста — лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла. Оснований других не оставлено для упований, но они так важны, так огромны, так несть им числа, что прощен и утешен безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где елка — причина для слез (не хотели ее, да сестра заносить повелела), сердце бьется и слушает, и — раздалось, донеслось: — Эй, очнитесь! Взгляните — восходит звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву, поспешанье волхвов и неопытной матери локоть, упасавший младенца с отметиной чудной во лбу. Остальное — лишь вздор, затянувшейся лжи мимолетность.

Этой плоти больной, извращенной трудом и войной, что нужней и отрадней столь просто описанной сцены? Но — корят то вином, то другою какою виной и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел как бессмысленный черный
фонарик —
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на елке названивал крошка-звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
Цвет — был меньше, чем розовый: родом из робких,
не резких.

Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза открывать —
вдоль метели пронесся трамвай, изнутри золотистый.
Все столпились у окон, как дети: — Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый,
огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слез и любви.
— Вам не надо ль чего-нибудь? — Нет, ничего нам
не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
Мать божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В день рожденья его дай молиться и плакать о каждом!

ПРИГОРОД: НАЗВАНЬЯ УЛИЦ

Стихам о люксембургских розах
совсем не нужен Люксембург:
они порой цветут в отбросах
окраин, свалками обросших,
смущая сумрак и сумбур.

Шутил ботаник-переулок,
любитель роз и тишины:
две улицы и переулок
(он — к новостройке первопуток) —
растенью грез посвящены.

Мы, для унятия страданий
коровьих, — не растим травы.
Народец мы дрянной и драный,
но любим свой родной дендрарий,
жаль, не сносить в нем головы.

Спасибо розе люксембургской
за чашу, полную услад:
к ней ходим за вином-закуской
(хоть и дают ее с нагрузкой),
цветем, как Люксембургский сад.

Не по прописке — для разбора,
чтоб в розных кущах не пропасть,
есть Роза-прима, Роза-втора,
а мелкий соименник вздора
зовется: Розкин непролаз.

Лишь розу чтит поселок-бука,
хоть идол сей не им взращен.
А вдруг скажу, что сивка-бурка
катал меня до Люксембурга? —
пускай пошлют за псих-врачом.

А было что-то в этом роде:
плющ стены замка обвивал,
шло готике небес предгрозые,
склоняясь к люксембургской розе,
ее садовник поливал.

Царица тридевятой флоры!
Зачем на скромный наш восток,
на хляби наши и заборы,
на злоначальные затворы
пал твой прозрачный лепесток?

Но должно вот чему дивиться,
прочла — и белый свет стал мил:
«Ул. им. Давыдова Дениса».
— Поведай мне, душа-девица,
ул. им.— кого? Ум — ил затмил.

— Вы что, неграмотная, что ли? —
спросила девица-краса.—
Пойдите подучитесь в школе.—
Открылись щелки, створки, шторы,
и выглянули все глаза.

— Я мало видывала видов —
развейте умственную тьму:
вдруг есть среди ваших индивидов
другой Денис, другой Давыдов? —
Красавица сказала: — Тьфу!

Пред-магазинною горою
я шла, и грустно было мне.
Свет, радость, жизнь! Ночной порою
тебе, певцу, тебе, герою,
не страшно ль в этой стороне?

* * *

Хожу по околицам дюжей весны,
вкруг покой воды, и сопутствие чье-то
глаголаше: «Колицем должен еси?»—
сочти, как умеешь, я сбилась со счета.

Хотелось мне моря, Батума, дождя,
кофейни и фески Омара-соседа.
Бубнило уже: «Ты должна, ты должна!»—
и двинулась я не овамо, а семо.

Прибой возыметь за спиной, на восток,
вершины ожегший, воззриться — могла ведь.
Всевластье трубы помавает хвостом,
предместье-прихвостье корпит, помогает.

Закат — и скорбит и робеет душа
пред пурпуром смрадным, прекрасно-зловещим.
Над гранью земли — ты должна, ты должна! —
на злате небес — филигрань-человечек.

Его пожирает отверстый вулкан,
его не спасет тихомолка оврага,
идет он — и поздно его окликать —
вдоль пламени, в челюсти антропофага.

Сближаются алое и фиолет.
Как стебель в середине захлопнутой книги,
меж ними расплющен его силуэт —
лишь вмятина видима в стынущем нимбе.

Добыча побоища и дележа —
невзрачная крапина крови и воли.
Как скушно жужжит: «Ты должна, ты должна!»—
тому ли скитальцу? Но нет его боле.

Я в местной луне, поначалу, своей
луны не узнала, да сжалилась лунность
и свойски зависла меж черных ветвей —
так ей приглянулась столь смелая глупость.

Меж тем я осталась одна, как она:
лишь нищие звери тянулись во други
да звук допекал: «Ты должна, ты должна!» —
ужель оборучью хапуги-округи?

Ее постояльцы забыли мотив,
родимая речь им далече латыни,
снуют, ненасытной мечтой охватив
кто — реки хмельные, кто — горы золотые.

Не ласки и взоры, а лязг и возня.
Пришла для подачи — осталась при плаче.
Их скаредный скрытень скрадет и меня.
Незнаемый молвил: «Тем паче, тем паче».

Текут добры молодцы вотчины вспять.
Трущобы трещат — и пусты деревеньки.
Пошто бы им загодя джинсы не дать?
По сей промтовар все идут в деликвенты.

Восход малолетства задирчив и быстр:
тетрадки да прятки, а больше — рогатки.
До зверских убийств от звериных убийств
по прямопутку шагают ребятки.

За-ради наживы решат на ножах:
не пусто ли брату остаться без брата?
Пребудут не живы — мне будет не жаль.
Истец улыбнулся: «Неправда, неправда».

Да ты их не видывал! Кто ты ни есть,
они в твою высь не взглянули ни разу.
И крестят детей, полагая, что крест —
условье улова и средство от сглазу.

До станции и до кладбища дошла,
чей вид и название содеяны сажей.
Опять донеслось: «Ты должна, ты должна!» —
я думала, что-нибудь новое скажет.

Забытость надгробья нежна и прочна.
О лакомка, сразу доставшийся раю!
«Вкушая, вкусих мало меду,— прочла,
уже не прочесть: — И се аз умираю».

Заведомый ангел, жилец неземной,
как прочие все, оснащенный скелетом.
«Ночной — на дневной, а шестой —
на седьмой!»—
вдруг рывкнул вблизи станционный селектор.

Я стала любить эти вскрики ничьи,
пророчества малых событий и ругань.
Утешно мне их соучастье в ночи,
когда сортируют иль так, озоруют.

Гигант-репетир ударяет впотьмах,
железо наслав на другое железо:
вагону, под горку, препона — «башмак»—
и сыплется снег с потрясенного леса.

Твердящий темно: «Ты должна, ты должна!»—
учись направлять, чтобы слышащий понял,
и некий ночной, грохоча и дрожа,
вспомнил свой долг и веленье исполнил.

Незрячая ощупь ума не точна:
лелея во мгле коридора-ущелья,
не дали дитяти дьячка для тычка,
для лестовицей ременной наущенья.

Откройся: кто ты? Ослабел и уснул
зломурый, как мурин, поселок немытый.
Суфлер в занебесном укрытье шепнул:
«Ты знаешь его, он — несправедный мытарь».

Призвал он коегожда из должников,
и мало взыскал, и хвалим был от бога».
Но, буде ты — тот, почему не таков
и не отпустишь от мзды и побора?

Окраина эта тошна и душна! —
Брезгливо изрек сортировочный рупор:

«Зла суца — ступай, ибо ты не должна
ни нам, ни местам нашим гиблым и грубым.

Таков уж твой сорт». — И подавленный всхлип
превысил слова про пути и про рейсы.
Потом я узнала: там сцепщик погиб.
Сам голову положил он на рельсы.

Не он ли вчера, напоследок дыша,
вдоль неба спешил из огня да в полымя?
И слабый пунктир — ты должна, ты должна! —
насквозь пролегал между нами двоими.

Хожу к тете Тасе, сижу и гляжу
на розан бумажный в зеленом вазоне.
Всю ночь потолок над глазами держу,
понять не умею и каюсь во злобе.

Иду в Афанасово крепким ледком,
по талой воде возвращаюсь оттуда.
И по пути, усмехнувшись тайком,
куплю мандариновый джем из Батума.

Покинувший — снова пришел: «Ты должна
заснуть, возмненья приидут иные».
Заснежило, и снизошла тишина,
и молвлю во сне: отпускаеши ныне...

СОДЕРЖАНИЕ

Цветы	7
Чужое ремесло	8
«Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше...»	9
Невеста	10
Лунатики	12
Грузинских женщин имена	13
Павлу Антокольскому	14
«Влечет меня старинный слог...»	17
Светофоры	18
«Я думала, что ты мой враг...»	19
«Жилось мне весело и шибко...»	20
«Вот звук дождя как будто звук домбры...»	21
«О, еще с тобой случится...»	22
«Не уделяй мне много времени...»	24
«Живут на улице Песчаной...»	25
«В тот месяц май, в тот месяц мой...»	27
Август	28
«По улице моей который год...»	29
Апрель	31
Нежность	32
Несмеяна	34
Мотороллер	36
Автомат с газированной водой	38
Твой дом	40
Сны о Грузии	42
Стихотворение, написанное во время бессонницы	
в Тбилиси	43
Свеча	44
«Мы расстаемся — и одновременно...»	45
Магнитофон	46
В метро на остановке «Сокол»	48
Заклинание	50
В опустевшем доме отдыха	51
Вступление в простуду	53
Пейзаж	54
Воскресный день	55
Болезнь	58
Маленькие самолеты	60
Сумерки	62

Осень	64
Зима	65
Ночь	66
Памяти Бориса Пастернака	68
Сказка о Дожде	73
Озноб	82
Симону Чиковани	86
Рисунок	88
Зимняя замкнутость	89
«Случилось так, что двадцати семи...»	92
Тоска по Лермонтову	93
Приключение в антикварном магазине	96
Сон	102
Слово	104
Немота	106
Другое	107
Уроки музыки	108
«Четверть века, Марина, тому...»	110
Биографическая справка	111
Клянусь	113
«Зима на юге. Далеко зашло...»	115
Плохая весна	117
Не писать о грозе	120
Дождь и сад	121
Варфоломеевская ночь	123
«В том времени, где и злодей...»	125
Гостить у художника	127
Снегопад	130
Метель	131
«Прощай! Прощай! Со лба сотру...»	132
Пререкание с Крымом	134
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»	136
Воспоминание о Ялте	138
Семья и быт	140
Описание ночи	142
Строка	143
Описание комнаты	144
Описание боли в солнечном сплетении	145
Это я...	147
Подражание	149
«Я думаю: как я была глупа...»	150
«Так дурно жить, как я вчера жила...»	152
«Собрались, завели разговор...»	154
«В той тоске, на какую способен...»	156
Медлительность	158
«Однажды, покачнувшись на краю...»	159
Песенка для Булата	160
Дом и лес	161
«Бьют часы, возвестившие осень...»	163
«Опять сентябрь, как тьму времен назад...»	164
«Я завидую ей — молодой...»	165
Снимок	167
«Сад еще не облетал...»	169
«Что за мгновенье! Родное дитя...»	171

Ожидание елки	172
«Так, значит, как вы делаете, други?..»	174
«Теперь о тех, чьи детские портреты...»	175
Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине	177
Лермонтов и дитя	179
Дачный роман	181
«Потом я вспомню, что была жива...»	185
Дом	186
«Как никогда, беспечно и добра...»	190
«Я вас люблю, красавицы столетий...»	191
Два гепарда	193
«Какое блаженство, что блещут снега...»	194
«Прохожий, мальчик, что ты? Мимо...»	195
«Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет...»	196
«Завидна мне извечная привычка...»	197
Чужая машинка	198
Февраль без снега	199
Москва ночью при снегопаде (<i>отрывок</i>)	202
«Я школу Гнесиных люблю...»	203
«Стихотворения чудный театр...»	205
Анне Каландадзе	206
«Я столько раз была мертва...»	208
«Помню — как вижу, зрачки затемню...»	209
«Я знаю, все будет: архивы, таблицы...»	210
Луна в Тарусе	211
«Деревни Бёхово крестьянин...»	212
Таруса	213
Путник	217
Приметы мастерской	219
Путешествие	221
«Вот не такой, как двадцать лет назад...»	223
Роза	225
Памяти Генриха Нейгауза	227
Переделкино после разлуки	229
Письмо Булату из Калифорнии	230
«Покуда жилкой голубою...»	232
Ленинград	233
Возвращение из Ленинграда	234
«Не добела раскалена...»	235
«То снился он тебе, а ныне ты — ему...»	236
Гагра: кафе «Рица»	237
«Смеркается в пятом часу, а к пяти...»	239
«Мы начали вместе: рабочие, я и зима...»	241
Сад	244
«Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...»	246
Ладыжино	247
Радость в Тарусе	249
Игры и шалости	252
Непослушание вещей	253
Кофейный чертик	255
Луна до утра	257
Утро после луны	260
Вослед 27-му дню февраля	262

День 12 марта	265
Вослед 27-му дню марта	267
Ревность пространства	269
Милость пространства	271
Строгость пространства	273
Свет и туман	275
Рассвет	277
Возвращение в Тарусу	278
Преппирательства и примирения	279
Черемуха	282
Черемуха трехдневная	284
Черемуха предпоследняя	287
«Есть тайна у меня от чудного цветенья...»	291
Ночь упаданья яблок	293
Февральское полнолуние	294
Род занятий	296
Гусиный Паркер	301
Прогулка	304
Палец на губах	306
День-Рафаэль	309
Лебедин мой	310
«Гребенников здесь жил...»	313
«Я лишь объем, где обитает что-то...»	317
Сиреневое блюдце	319
Печали и шуточки: комната	321
Сад-всадник	325
«Воздух августа: плавность услад и услуг...»	327
Забывтый мяч	328
Бабочка	329
Москва: дом на Беговой улице	330
Смерть совы	333
Ночь на тридцатое марта	335
Друг столб	336
Суббота в Тарусе	338
Цветений очередность	341
Ночь на 30 апреля	343
Скончание черемухи — 1	344
Скончание черемухи — 2	345
Смерть Французова	347
Пачёвский мой	349
«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...»	351
Звук указующий	352
Луне от ревивца	353
«Зачем он ходит? Я люблю одна...»	355
«Эта смерть не моя есть ущерб и зачет...»	359
«Отселева за тридевяль земель...»	360
«Быть по сему: оставьте мне...»	362
«Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен...»	363
«Как много у маленькой музыки этой...»	364
«Люблю ночные промедленья...»	366
Пашка	368
Шум тишины	370
«Дорога на Паршино, дале — к Тарусе...»	372
29-й день февраля	373

Посвящение	375
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...»	377
«Был вход возбранен. Я не знала о том и вошла...» . . .	378
«Когда жалела я Бориса...»	379
Ночь на 6 июня	381
«Какому ни предамся краю...»	383
«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях...»	386
«Бессмертьем душу обольщая...»	389
Стена	391
«Чудовищный и призрачный курорт...»	394
«Такая пала на душу метель...»	397
«Взамен элегий — шуточки, сарказмы...»	399
Постой	401
«Всех обожаний бедствие огромно...»	403
Дом с башней	404
Поступок розы	407
«Темнеет в полночь и светает вскоре...»	410
Побережье	412
Гряда камней	415
«Этот брег — только бред двух схватившихся зорь...»	420
«Завидев дом, в испуге безъязыком...»	422
«Всё шхеры, фиорды, ущельных существ...»	424
«Лапландских летних льдов недалняя граница...»	426
Шестой день июня	428
«Я — лишь горы моей подножье...»	430
«Не то чтоб я забыла что-нибудь...»	431
«Мне дан июнь холодный и пространный...»	432
«То ль потому, что ландыш пожелтел...»	434
«Пора, прощай моя скала...»	435
Ночное	437
«Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет...»	438
«Где Питкяранта? Житель Питкярантский...»	440
«Вся тьма — в отсутствии, в опале...»	443
Черемуха белоношная	446
«Так бел, что опалет веки...»	449
«Сирень, сирень — не кончилась бы худом...»	451
«Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет...»	454
«Сверканье блесен, жалобы уключин...»	455
«Лишь июнь Сортавальские воды согрел...»	457
«Вошла в лиловом в логово и в лоно...»	460
«Здесь никогда пространство не игриво...»	463
«— Что это, что? — Спи, это жар во лбу...»	464
Елка в больничном коридоре	466
Пригород: названья улиц	468
«Хожу по околицам дюжей весны...»	470

Белла Ахмадулина
(Изабелла Ахатовна Ахмадулина)

ИЗБРАННОЕ

Редактор В. С. ФОГЕЛЬСОН

Художественный редактор Д. С. МУХИН

Технические редакторы Н. Н. ТАЛЫКО и Н. В. СИДОРОВА

Корректор А. В. МУРАВЬЕВА

ИБ № 6386

Сдано в набор 11.02.88. Подписано к печати 01.09.88.
А 03295. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура
Таймс. Высокая печать. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л.
17,48. Тираж 100 000 экз. (1-й з-д 1—80 000 экз.) Заказ
№ 123. Цена 2 р. 10 к. Ордена Дружбы народов издательство
«Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского,

11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по делам издательств, полиграф-
фии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект
Ленина, 109

Ахмадулина Б.
А 95 **Избранное: Стихи.— М.: Советский писатель,**
1988.—480 с.
ISBN 5—265—00092—5

В свое «Избранное» Белла Ахмадулина включила наиболее значительное из написанного ею за три десятилетия поэтической работы.

4702010202—361
А **165—88**
083(02)—88

ББК 84 Р7

